

Владислав Крапивин

Славка с улицы Герцен



Владислав Петрович Крапивин

Славка с улицы Герцена

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153923

Аннотация

Какое огромное количество открытий готовит для шестилетнего мальчишки мир! Сколько прекрасного и замечательного можно увидеть – но и печалей не избежать... Да, много сюрпризов готовит жизнь юному Славке: смешных и грустных, забавных и поучительных. И память о своем детстве, о своих товарищах, о своей улице останется вместе с ним до седин...

Содержание

Книга первая	4
***	4
«ПОШЕЛ ВСЕ НАВЕРХ!»	5
Непроливашка	29
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Владислав Крапивин

Славка с улицы Герцена

Повести давнего детства

Книга первая

Непроливашка

Вот удивительно! То, что происходит в нынешние дни, часто не могу вспомнить: на какое число назначено писательское собрание, в какой ящик засунул важные документы, о чем говорил на недавнем телевыступлении... А то, что было шестьдесят лет назад, вспоминается с удивительной четкостью: словно неторопливо прокручивается длинный фильм – кадр за кадром, день за днем. Помнятся не только события, картинки, лица, а даже звуки и запахи. Как шлепали колесами на реке Туре старые буксиры, как пахли желтые майские одуванчики или, скажем, бумажные солдатики, которыми мы играли с моим другом Пашкой...

То, что вспоминается – было. А раз оно было, значит – есть и сейчас. Не только в памяти, но и в нынешней жизни, потому что без прошлого нет настоящего. И думая об этом, я не раз писал повести и рассказы о своем детстве и о детстве моих друзей. Но писал их беспорядочно, вставлял в разные книжки и сборники, одни печатались часто, другие редко, а некоторые до сих пор не выходили в книжках совсем. И вот захотелось навести какой-то порядок в историях про свою школьную жизнь...

Полного порядка не получилось. Дотошные читатель сможет обратить внимание на некоторые нестыковки – в датах, в возрасте героя, в именах. Например, в одних повестях моего друга Павлика я называю Лешкой Шалимовым, в других Пашкой Шаклиным. Так получилось потому, что писались эти вещи в очень уж разное время. Но исправлять я ничего не стал. В конце концов, главное не в строгом соблюдении деталей, а в ощущении, что ты прибежал из школы, закинул в угол свою кирзовую сумку и вытащил из-за сундука склеенного вчера бумажного змея...

«ПОШЕЛ ВСЕ НАВЕРХ!» ИЛИ ЖЕРТВА ЭРУДИЦИИ

О пользе словарей

Когда-то я был маленьким и ходил в первый класс. В самом этом факте нет ничего особенного. Почти все взрослые люди были в свое время первоклассниками или первоклассницами. Но я оказался первоклассником нетипичным. Неудобным для школы и для себя самого. Беда в том, что я слишком много знал.

Обширные знания иногда называют красивым словом “эрудиция”.

Это слово я впервые услышал еще до школы, летом сорок пятого года. От Володи Шалимова. Володя был старший брат моего соседа Лешки Шалимова, третьеклассника, который поддерживал со мной полуприяТЕЛЬСКИЕ отношения. Володя учился в лесном техникуме. Он мечтал быть моряком, но в морское училище его не пустила медицинская комиссия, вот и пришлось выбрать сухопутную профессию. Видимо, на память о несбывшейся мечте Володя развесил у себя над кроватью синие географические карты и рисунки с кораблями, а по вечерам он со своим приятелем Витей Каблуковым строил модель парусника. Я часто сидел в его комнате и смотрел на эту работу. И порой встревал в разговор, потому что гордился знанием кое-каких корабельных частей. Однажды я, наверно, вмешивался чересчур настырно, потому что Витя предупредил:

– Всякие салаги тут пусть сидят и не плачут. Иначе – долой с палубы.

А Володя сказал ему:

– Пусть рассуждает. Видишь, какой эрудированный ребенок.

Я тут же оскорбился:

– Чё обзываешься!

Володя, поблескивая черными ироничными глазами, объяснил, что он вовсе не обзывает меня, а хвалит. И кратко растолковал, что такое “эрудиция”. Но предупредил, что излишняя эрудиция не доводит до добра.

К последней Володиной реплике я отнесся с пренебрежением, ибо много раз слышал, что знания приносят одну только пользу.

– Не веришь? – удивился Володя. – Зря. Про это везде написано.

– Где везде?!

– Возьми любой толковый словарь и прочитай, если умеешь.

Конечно, Володя был уверен, что никакого словаря у меня нет. Но в этом случае он просчитался.

Мой отец до войны преподавал русский язык и литературу. От него осталось немало толстых серьезных книг, в том числе и старинных. Среди них растрепанный, небольшой, но очень толстый “Энциклопедический словарь” Ф. Павленкова. Я любил его разглядывать, потому что на каждой странице было много маленьких, но четких и занимательных картинок: портреты, здания, кораблики, животные, растения, всякие машины. Я читал объяснения к этим картинкам. Одни были понятные, другие не очень, тогда приходилось спрашивать маму, брата или сестру.

Читал я в ту пору уже вполне бегло. Причем всякие “дореволюционные” буквы меня не смущали. Мама объяснила мне, как обходиться со всеми этими ижицами, фитами и ятями, а также с твердыми знаками в конце слов, и скоро я просто уже не замечал их.

Именно этот папин словарь часто помогал мне расширять эрудицию, хотя до разговора с Володей я не знал, что это такое.

Особенно нравилась мне картинка, изображавшая центавра (или “кентавра”, как было отмечено в скобках). Мускулистая лошадь, а вместо головы у нее – туловище бородатого человека. Человек натягивал маленький, круто изогнутый лук со стрелой.

Объяснение про центавра-кентавра было непонятным, и я обратился к маме. От нее-то и услышал тогда кое-что о греческих мифах, где немалую роль играли эти люди-лошади.

– А маленькие кентавры были? – спросил я, вспоминая тонконового гнедого жеребенка. Он всегда трусил рядом с кобылой, которая привозила повозку с хлебом к ближайшему магазину.

– Конечно, были и маленькие, – понимающе сказала мама. – Такие же прыгучие, как ты... Ну, беги скакать на двор, слышишь, там ребята играют...

За окном и правда раздавались голоса. Это Сёмка Левитин, Амир Рашидов, рыжий Толька Петров и его сестра Галка смастерили бумажных змеев и с ликующими воплями запускали их, бегали от ворот до помойки. Змеи были небольшие, типа “монах”, взлетали невысоко, но веселья было полным-полно.

Я выбежал и включился в эту летучую круговерть. Своего змея у меня не было, и я носился с приятелями просто так, за компанию. Перепрыгивал через лужицы, оставшиеся после ночной грозы.

Галкин “монах” не удержался в воздухе, сунулся бумажным клювом в траву. Галка остановилась, и я с размаха налетел на нее.

– Придунок, – сумрачно сказала Галка. – Скачет, как заводной козел...

Я не сразу выключил в себе солнечное настроение и радостно сообщил Галке, что “сама ты козел, а я – кентавренок”.

– Кто-кто? – Она свесила на обшарпанное плечо коротенькую тощую косу.

– Кентавренок, балда ты, – разъярил я. – Маленький кентавр. Такие раньше были в старинной Греции. Наполовину кони, наполовину люди...

– Совсем псих, да? Никогда таких не было!

– Были!

– Щас как дам!

– Обратно отоваришься!

Мы стремительно подрались. Семка и Амир сохранили нейтралитет, а Толька пришел на помощь сестрице. Силы оказались явно неравные, и я пустился к своему крыльцу. Захлопнул перед Галкиным носом дверь. Потом размазал по щекам слезы и стал из кухонного окна показывать недругам язык.

Галка плясала на одной ноге и противным голосом пела тут же сочиненную частушку:

Кентаврёныш-кентаврёт!
Потому что много врёт!

При этом она противно картавила. Толька ей подпевал.

Самое поганое, что Семка и Амир в конце концов присоединились к сестре и брату Петровым. Пели уже в четыре голоса.

Очевидно, мое совсем не героическое бегство с поля битвы отвратило от меня бывших приятелей. По крайней мере, на ближайший час...

Уже в тот день мне следовало бы понять: выставление напоказ лишних знаний чревато неприятностями. Но я не сделал нужного вывода...

Не поверил я и Володе Шалимову, когда он предупредил, что эрудиция в чрезмерных дозах сулит всякие осложнения.

Я взял словарь и открыл страницу со словами на букву “Э”. И нашел, что хотел: “Эрудиция – глубокая и многосторонняя ученость”.

Вот и все! Коротко и ясно. Никакого намека, что ученость эта приносит несчастья! Володька по своей привычке, видимо, просто подразнил и попугал меня.

Я еще раз прочитал про “эрудицию”, и вновь слегка возгордился. Что ни говорите, а я и правда в свои неполные семь лет знал немало.

Сейчас-то я понимаю, что мои тогдашние знания были не без пробелов. Причем пробелы могли быть самые неожиданные. Вот один пример. Я знал, что название “помидор” происходит от итальянских слов “помо де оро” и это означает “золотое яблоко”, но в то же время я был уверен, что словом “томат” называют жестяные банки для рыбных консервов. Потому что все консервы были “в томате”. Правда, сами консервы в то голодное время я пробовал редко, но у меня было много длинных бумажных наклеек для банок – со всякими рыбами, разноцветными буквами, синими волнами и корабликами. Эти наклейки дарил мне мамин знакомый Артур Сергеевич. Он работал тогда на рыбокомбинате, носил китель с серебряными морскими пуговицами и капитанскую фуражку с бело-зеленым флажком – вымпелом промысловых судов...

Однако я отвлекся. Речь шла о неприятностях, связанных с моей эрудицией.

Мои познания распространялись и на такую важную сферу жизни, как школа. Правда, сам я туда еще не ходил, но сведений о школьных делах имел предостаточно. Кое-что от старшей сестры и брата, кое-что из книжек, но прежде всего – от Лешки Шалимова, который тянул ученическую лямку уже три года.

Из Лешкиных рассказов следовало, что в школе надо держать ухо востро и соблюдать массу правил. Не тех “Правил для учащихся”, что висят в рамке на стене (они-то как раз “по фигу”), а таких, чтобы не оказаться в дурачках и не заработать лишних шишек.

Прежде всего запрещается быть нытиком. Если получил двойку (а без этого не проживешь), нельзя пускать слезы, а надо садиться на место с равнодушным зевком или насмешливой улыбкой. Мне, мол, на это начхать.

Когда на перемене достаешь свой хлеб, взятый из дома для завтрака, следует быстро сказать: “Двадцать один – ем один”. Иначе кругом заголосят: “Сорок семь – делишь всем!” И тогда попробуй не поделиться! Станешь навеки жадиной, обжорой и буржуем.

Если будешь чересчур послушным, попадешь в подлизы. Станут дразнить: “Лиза-под, Лиза-под, понимай наоборот”. Но это еще не самое страшное. Хуже всего сделаться “определителем”. Тогда не говорили “жаловаться” или “ябедничать”, говорили “определять”...

Вообще в школе многое именовалось не так, как в обычной жизни. Прямо хоть особый словарь составляй. Учительница называлась “чи кла”, директорша – “дры кла”, арифметика – “арифа”, физкультура – «физра», чернила – «синька», любой головной убор (кроме пилотки) – «кемель». Пинок под зад – «пендаль», штаны – «шкеры», голова – «кумпол», портфель – «чума» (сокращенно от чумадан).

– Крынка, то есть Люська Крылова, определила, подлюка, что я ей из резинки по кумполу стрелкнул, а чикла меня хват за шкеры и в кабинет к дрыкле. А та как заорет: «Будешь после уроков два часа сидеть! А еще раз повторится – засажу аж до черного вечера!..» И чуму отобрала, чтобы не сбежал.

Таких вот ужасных наказаний я боялся заранее. Наслушавшись Лешкиных рассказов, я впадал в тоскливые раздумья по поводу горькой судьбы учеников начальной школы. А потом начинал себя успокаивать.

Может, все не так уж страшно?

Двоек я не боялся. Надеялся, что эрудиция поможет мне стать если не отличником, то хотя бы ударником. Жадничать и определять я, конечно, не стану, подлизываться тоже. Не стану и стрелять из резинки ни по чьим-то кумполам. Следовательно, не за что будет оставлять меня после уроков на два часа. И тем более до черного вечера. Потому что этого я бы не вынес.

Дело в том, что всякий отрыв от дома был для меня мучением. Такой вот я уродился. В свое время дважды пытались устроить меня в детский сад, но оба раза я выдерживал там не больше месяца. Тосковал то тихо и безнадежно. то с ревом, скандалами и попытками бегства. Соглашался целыми днями сидеть дома в одиночестве, пока мама на работе, а брат и сестра в техникуме, лишь бы не отправляться в ужасную детсадовскую неволю.

Помимо тоски по дому, меня угнетала именно эта неволя. Необходимость идти туда, куда не хочется, делать то, к чему не лежит душа. Угнетала чужая власть, которая заставляет тебя спать, гулять, играть в соответствии с расписанием, а не с твоим желанием...

Я догадывался, что в школе буду подчинен той же власти. Только еще более суровой. Потому что детский сад – заведение все-таки не обязательное, а от школы никуда не денешься. И это ощущение обреченности поселилось во мне уже в середине лета, когда разговоры о школе стали частыми.

Однако я прятал свои чувства. Я понимал, что есть жизненные правила, которые следует неукоснительно выполнять. Известно, что все нормальные дети радуются поступлению в первый класс, и я делал вид, что радуюсь тоже. Обманывал не только взрослых, но в какой-то степени и самого себя. Потому что порой появлялось нервное возбуждение, которое в самом деле напоминало радость. Возможно, это похоже на чувство молодого бойца перед первой битвой. Мама, сестра и брат были уверены, что я о ч е н ь хочу в школу.

– Ты станешь необыкновенным первоклассником! – радостно пообещала мне сестра, которая все школьные годы была отличницей.

Последние глотки свободы

Увы, необыкновенность моя началась с того, что первого сентября в школу я не пошел. Оказалось, что я совершенно разут.

В последнюю неделю августа окончательно развалились мои заслуженные друзья – сандалии. Несколько дней я бегал босиком. А к учебному году припасены были скрипучие желтые ботинки. Заграничные. Отец прислал их из Германии, он дослуживал там свой послевоенный офицерский срок. Прислал вместе с пачкой лощеных немецких тетрадок, тремя пестрыми вязаными шапочками и какими-то вещами для мамы. Мама ботинки сразу спрятала – для школы.

А вечером тридцать первого августа оказалось, что ботинки мне безнадежно малы.

– Когда твои лапы успели так вырасти! – в отчаянии сказала мама. – Что же теперь делать?

Я переступил босыми ногами и с деланной горечью потупился.

Осторожно, боясь, что я не вынесу огорчения, мама проговорила:

– Ты уж потерпи еще денек, посиди завтра дома. А я попрошу Ивана Григорьевича заменить мой юбочный ордер на обувной. Может, завтра же и получу на тебя ботинки.

Тогда одежду и обувь часто получали по ордерам на складах, такое правило осталось от военной поры.

Я, сохраняя траурное выражение лица, кивнул. А в груди моей теплело от благодарности судьбе, которая прибавила еще один день к моему беззаботному дошкольному детству...

Этот день был солнечный, вполне летний, но без жары. С ласковым пушистым теплом. Помню, что ощущение пушистости возникало у меня от невесомых, с длинными белыми волосками, семян, которые плавали в тихом воздухе. Иногда они касались моих щек.

Эти семена – от высоких городских сорняков, которые растут вдоль заборов. Не знаю, как эти растения называются. Про себя я всегда называл их белоцветом. В августе головки белоцвета лопаются, пухнут, семена расправляют волоски-лапки и отправляются в неспешный полет. Они – признак присмирившего, уходящего лета... Белоцвет и сейчас растет у забора, окружающего заброшенную стройку рядом с многоэтажным домом, где я ныне живу. Белые семена-паучки залетают на балкон и напоминают про тот день – первое сентября сорок пятого года.

Тогда эти семена висели в воздухе неподвижно. Медленно-медленно садились они на поверхность лужи, которая голубела у щелястого забора – он отгораживал от нашего двора кирпичный магазинчик («хлебный распределитель»). Лужа эта была почти постоянной. Высыхала она лишь в самые знойные июльские дни.

В тенистом углу позади дровяника я набрал влажной глины, слепил из нее остроносый линкор с орудийными башнями и с пушками из обломков прутика. Затем отыскал у поленницы широкую щепку. Поставил на нее линкор и пустил в лужу. Плоская темная щепка оказалась на одном уровне с водой и сделалась почти незаметна. Полное впечатление, что линкор плывет сам по себе. И я начал отправлять его в рейсы от одного края лужи к другому.

Глиняный корабль выглядел вполне по-военному, однако настроение мое было мирным. Я то шлепал по луже следом за линкором, то сидел на корточках у края воды и смотрел, как от плывущего корабля разбегаются солнечные зигзаги. Или следил за семенами белоцвета. Было мне на просторном безлюдном дворе хорошо и спокойно. Я чувствовал себя даже счастливым. Но таилась в моем настроении и печаль. Я понимал, что счастье мое недолговечно и призрачно. И утешал себя тем, что этот ласковый и вольный день кончится еще не скоро.

Над забором, на невысоком телеграфном проводе, обессиленно и неподвижно повис змей-монах с тощим мочальным хвостиком. Он был как символ прошедшего лета и как напоминание, что бесполезно бороться с судьбой. Я поглядывал на него по-дружески, понимая.

Здесь, у лужи, меня увидели Семка Левитин и Галка Петрова, которые вернулись из школы. (Галкиного брата, рыжего Тольку, в первый класс не взяли, не хватило возраста.)

– Чё не был в классе? Про тебя чикла спрашивала, – сообщил Семка с небрежностью школьного ветерана. Этот его тон никак не вязался с внешностью новичка-первоклассника: Семка был в жестком, со складками, матросском костюмчике и с блестящим остроугольным портфелем (чумой!). Галка тоже выглядела необычно нарядной: в синем с белыми горошинами платье и с голубыми ленточками в жиденьких косицах. У нее были значительно поджаты губы.

Я принял вид человека, умудренного жизненными трудностями. Подбородком показал на Семкины новые полуботинки.

– Тебе хорошо, успели обувь достать. А я без ничего. Вот обменяет мама ордер, тогда уж...

Семка сочувственно, кивнул:

– Ну, не беда. Мы еще не так уж много выучили, догонишь...

– А мы много чего выучили! – возразила Галка. – Песню про Сталина пели и рисовали ёлочки. А послезавтра будем уже букву а изучать.

– И мы тоже! – подскочил Семка.

– Вы разве не в одном классе?

Оказалось, что Семка в первом «А» – в том же, куда записан и я. А Галка – в первом «Б».

Я усмехнулся с превосходством эрудированного человека:

– Ты, Галка, наверно, свой класс и не найдешь. Ты же букву «а» не изучила и от «б» не отличишь...

Галка обиделась:

– Совсем тупой, да? Думаешь, я не запомнила, где у нашего класса дверь?

И она, фыркая, удалилась.

Самое забавное было то, что и Галка, и Семка знали все буквы и даже могли читать по складам. Но одно дело знать просто так, а другое и з у ч а т ь. Я улавливал эту разницу и ощутил что-то вроде зависти.

Семка между тем обратил внимание на линкор.

– Это немецкий?

– Сам ты немецкий! Это «Марат». Линкор Советского Союза.

– Немецкий. У него башня кривая.

– Сам ты кривая!

– Щас мы его разбомбим... – Семка подхватил с земли осколок кирпича и пустил в линкор, который приткнулся к дальнему берегу лужи. Я оттолкнул Семку плечом и бросился спасать свой корабль. В обход водоема. Семка успел пустить еще два снаряда. Но ни разу не попал.

Я выхватил линкор из воды, прижал к груди.

– Чё раскидался! Ты его делал? Сделай, а потом бомби!

– А тебе жалко?

– Жалка у пчелки...

– Жадина-жила!

– Моряк – с печки бряк!

Семка ехидно скривил пухлую физиономию и пропел:

Жила, жила-крокодила,
Поменял г... на мыло!

– Значит, э т о м у вас сегодня учили? – язвительно спросил я.

Семка помолчал, подумал и зловеще пообещал:

– Только приди к нам в класс. Я ребятам скажу, все тебя лупить будут.

Ах ты, обезьяна толстая! Еле умеет отличать «а» от «б», а туда же: «Наш класс!»

Поддавшись мстительному вдохновению, я запустил в Семку щепкой с линкором. Щепка пролетела мимо. Линкор сорвался и угодил в лужу у Семкиных ног. Взметнулся язык мутной воды, грязные капли щедро окропили Семкину матроску.

Семка посмотрел на влажные пятна и кругло открыл рот. Я приготовился драпать. Семка значительно превосходил меня по весу, и к тому же я понимал, что обида за перепачканный костюм придаст ему дополнительные силы. Но Семка постоял и... заревел. Ровно и басовито. И пошел, оглядываясь и что-то непонятно выговаривая сквозь слезы. Я смог разобрать лишь слово «попадет». Неясно было: то ли ему попадет за перепачканную матроску, то ли мне – за мой подлый поступок.

– Так тебе и надо! – сказал я вслед.

Но никакого злорадства я не ощутил. Наоборот, был даже подавлен. Конечно, Семка сам виноват, нечего было бомбить чужой линкор, да еще и нахально обзывать его немецким. Но в глубине души мне Семку было жаль. Потому что вот если бы я сам пришел из школы такой, во всем новеньком, и меня бы грязью... Но больше жалел я не самого Семку, а его матроску. Матросский воротник и якоря всегда были для меня символом флота, кораблей и путешествий, и теперь я словно обдал мутной водой что-то свое, любимое...

Приунывший, вернулся я домой, забрался с перемазанными ногами на кровать и, чтобы утешиться, стал читать книжку «Побежденный Карабас» – продолжение «Золотого ключика» о приключениях Буратино в Ленинграде.

Затем я раскупорил закутанную в ватник кастрюлю с макаронами и пообедал.

После этого я на обороте длинных консервных этикеток рисовал кораблики на волнах, улицу сказочного города и лес, в котором прятались избушки на курьих ногах и лешие.

Пришла мама. Со вздохами сообщила, что неизвестный мне Иван Григорьевич обменять ордер категорически отказался.

– Завтра пойду на толкучку. Может быть, продам твои ботинки и куплю другие, побольше.

– Значит, это что же? – изобразил я крайнее огорчение, а душа моя радостно замерла. – Завтра опять в школу не пойду?

– Но ведь завтра воскресенье.

Вот как! А я про это совсем забыл! Какое счастье! Еще целые сутки свободы!

...Назавтра я помирился с Семкой. Он зла не помнил, про костюм небрежно сказал:

– Ништяк, все высохло и отчистилось...

Мы вместе играли в партизан среди длинных поленниц на нашем дворе и договорились, что в классе сядем за одну парту, «если только чикла не зашипит, а то она велит каждому пацану сидеть с девкой».

И опять был длинный безмятежный день. Но к вечеру снова надвинулось на меня ощущение неизбежного. Так сильно, что я, спасаясь от этого чувства, раньше обычного улегся спать. А у кровати стояли новые ботинки, которые мама принесла с толкучки. Они лишали меня всех надежд.

Утром я проснулся очень рано. И с возбуждением человека, который спешит навстречу неминуемой опасности, кинулся будить маму.

– Мы опоздаем в школу!

И тут опять случилось чудо. Сонно зевая, мама сказала, чтобы я не волновался. Вчера вечером передали по радио радостное сообщение: капитулировала Япония, с которой у нас в ту пору была война. Теперь война кончилась, и третье сентября будет нерабочим днем, потому что всенародный праздник.

Нет слов, чтобы описать мою благодарность Японии, которая столь вовремя сдалась на милость победителя!

Вообще-то японцы были, конечно, враги. Они еще до войны лезли на нас – на Халхин-Голе и на озере Хасан. То и дело насылали шпионов и диверсантов. Хорошо, что границу охранял храбрый пограничник Карацупа, а то бы совсем беда.

У Володи Шалимова была книжка «Морская тайна» – про то, как злодеи с японского подводного крейсера «Голубое солнце» захватили в плен наших моряков и чуть их не расстреляли. Но наши все равно победили и вырвались на свободу. Эту книжку читал мой старший брат Сережа и пересказывал мне.

Была про злых японцев и песня: «В эту ночь решили самураи перейти границу у реки...» Правда, потом, через много лет, стали петь не «самураи», а «вражья стая». Тем более что и фильмы японские появились – «Знамена самураев», «Семь самураев» и другие – там эти воины были совсем положительные, храбрые, за бедных заступались...

Но и в сорок пятом году такого зла, как на немецких фашистов, на японцев я не помню. Взрослые в своих разговорах их даже жалели, когда американцы бросили две атомные бомбы. А в тот день, третьего сентября сорок пятого года, я испытывал к Стране Восходящего Солнца просто нежные чувства. Мало того, новый подарок судьбы породил во мне надежду на дальнейшие удачи. Я был почти уверен, что вот-вот случится еще что-нибудь радостное и назавтра опять объявят праздник.

Почему-то больше всего я рассчитывал, что поймают и повесят Гитлера.

В то время многие не верили, что Гитлер покончил с собой в конце войны. Ходили слухи, что он где-то скрывается. Мне казалось, что скоро его обязательно изловят и тут же отправят на виселицу при всеобщем ликовании. И, безусловно, будет опять нерабочий день.

Однако к вечеру стало ясно, что бывший фюрер пока не дал себя поймать. Я расценил этот факт, как еще одно его злодеяние, направленное теперь не только против человечества, но и против меня лично.

А затем неотвратимо пришло утро четвертого сентября. Серенькое, с морсящим дождем, под стать моему настроению.

И я пришел с мамой в школу. В начальную, номер девятнадцать, что была в трех кварталах от моего дома, на улице Ленина, рядом с красивой церковью – на ее белую башню я любил смотреть со своего крыльца. Но сейчас меня и эта башня не радовала...

Четвертое сентября

Портфель или сумку для меня купить не сумели, я нес букварь и пенал в пакете от патефонной пластинки. В круглое отверстие выглядывало лицо веселого первоклассника, напечатанного на обложке букваря. Этот прилежный разноцветный мальчик своим видом словно старался восполнить недостаток моей собственной радости.

На мне была вязаная шапочка с помпоном – одна из тех, что прислал отец.

Школа была в полтора этажа, с полуподвалом. Кирпичная, побеленная, старинной постройки, с узкими высокими окнами. На просторной полутемной лестнице с точеными перилами толпилось множество ребят. Дежурные почему-то никого не пускали наверх. Это было первое нелепое школьное правило, с которым я столкнулся. Почему люди не могут спокойно идти в свои классы, должны долго томиться на ступеньках, а потом с воплями толпой устремляться наверх?

Было тесно. Я вдохнул незнакомый, тоже «школьный» запах, и у меня заскребло в горле. Я покрепче ухватил маму за руку, хотя понимал: хватай не хватай, а все равно...

Но тут рядом оказался Лешка Шалимов, уже четвероклассник. Он иногда умел быть добрым и понимающим. Шепнул:

– Не бойся... – Вернее, он выразился покрепче, на знакомом мне уличном диалекте. От этой грубоватой ласки стало легче дышать...

В классе печаль моя совсем развеялась. Что ни говорите, а новизна обстановки всегда бодрит. К тому же облака разорвались и в окно глянуло солнце, обещая еще один теплый день.

Многое оказалось для меня неожиданным. Например, печка-голландка в углу класса. Мне понравилось, что дверца у нее почти такая же, как у нас дома, в проходной комнатке, где жил мамин брат – дядя Боря.

Вызвала удивление и учительница.

Я думал, что учительницы все высокие, молодые, с красивыми прическами и громкими строгими голосами. А Прасковья Ивановна была совсем простая тетенька, похожая на нашу соседку тетю Иру, домохозяйку, которая держала в сарае корову и торговала молоком. Но это мне даже понравилось.

Правда, сесть мне и Семке за одну парту Прасковья Ивановна не разрешила. А когда Семка заспорил, она предупреждающе сказала:

– Со-ло-мон! Я напишу маме записку...

Я опять удивился. Почему мой приятель – Соломон? Он был Сёмка, Семен, это все на нашей улице Герцена знали. Может, в школе каждому назначают какое-то особое имя?

А как будут звать меня?

Но меня Прасковья Ивановна назвала привычно:

– Славик, садись вон за ту парту, с Валею Малеевой...

Что делать, я сел. Ничего, Валя как Валя. Вроде спокойная, не задиристая, улыбнулась по-хорошему...

Прасковья Ивановна всем напомнила, как надо вставать и садиться, как поднимать руку, если хотим о чем-то спросить, и прочие школьные премудрости. А дальше началось то, что сломало все мои представления об учебных занятиях. Прасковья Ивановна сообщила:

– Сейчас будем писать палочку.

Я ничего не понял. Что значит «писать палочку»? Вся моя эрудиция не могла дать ответа на этот вопрос. И я решил в конце концов, что нам предстоит писать слово «палочка».

Почему так?

Мне доподлинно было известно, что в школе сперва пишут «мама», «рама», «Лара» и тому подобное. И вдруг такое сложное слово!

Ну ладно, учительнице виднее. Но только получится ли у меня? Прописи я знал слабо. Хотел уже поднять руку и спросить, можно ли будет писать печатными буквами. Но в последний момент решил подождать.

И правильно сделал.

Прасковья Ивановна раздала нам карандаши и бумагу – каждому половинку тетрадного листа. Бумага была расчерчена косыми клетками.

Прасковья Ивановна подошла к доске.

– Все взяли карандаши. Держим правильно, свободно, как я вас учила, не стискиваем. Не скрючиваем пальцы... Со-ло-мон! Возьми карандаш, я сказала! И Тонкошеев! Ты второй год в первом классе, пора бы уже научиться. Теперь все попробуем нарисовать палочку. Начинаем вот отсюда, из угла верхней клеточки... и потянули вниз. Вот та-ак...

Мел заскрипел по доске, расчерченной так же, как бумага. Посыпалась белая пыль. Появилась черта. Потом рядышком еще одна.

– Вот та-ак... Все старайтесь.

Первый «А» засопел над клочками бумаги.

– Зачем это? – с тихим недоумением спросил я у соседки.

Умная и серьезная Малеева шепотом объяснила:

– Учимся буквы писать. По частям.

– А-а... – дошло до меня.

– Никто не разговаривает, все пишут... Соломон!

Я склонился над бумагой и лихо изобразил на косых линейках частокол из разнокалиберных палок. Подумаешь, наука!

Прасковья Ивановна ходила мимо парт. Наклонилась над нашей.

– Молодец, Валя... А тебе, Славик, надо быть поаккуратнее. Смотри, как написано на доске.

Я строптиво повел плечом, потому что всегда болезненно относился к критике.

На втором уроке мы изучали букву «а» (правду говорили в субботу Галка и Семка!). Разглядывали ее в букваре, называли слова, которые с этой буквы начинаются. Прежде всего, конечно, «арбуз», который я ни разу в жизни не пробовал. В те времена арбузы в наш город не привозили: до того ли, когда хлеб по карточкам. Потом мы хором изображали, как кричит мальчик, когда уколёт палец:

– А-а-а!

Это было самое интересное. Только непонятно, почему мальчик! Девчонки чаще орут, если больно.

– А я кричу «ой-ёй-ёй!» – заявил маленький быстроглазый Боря Демидов (мы с ним когда-то были в одной группе детского сада).

– Кто будет кричать неправильно, пойдет в угол, – утомленно пообещала Прасковья Ивановна. – И маме сообщу. Вот тогда будет «ой-ёй-ёй»...

Вот так-то! Даже если тебе больно, кричать здесь надо по правилам. В школе все по правилам...

А на третьем уроке началась вообще какая-то чепуха. Прасковья Ивановна вполне серьезно стала объяснять нам, что значит «меньше» и «больше». Она показывала два кубика – один с коробку «Казбека», другой со спичечный коробок – и спрашивала:

– Кто скажет, который кубик больше? Поднимайте руки, не выкрикивайте... Витя!.. Правильно говоришь, молодец. А какой кубик меньше?.. Вова Панкратов!.. Верно, садись...

Потом – то же самое с длинным и коротким карандашами, с крупным и мелким яблоками (они были, конечно, ненастоящие)...

– А кто скажет, что больше: «один» или «два»?

Я тихо изумлялся. Неужели Прасковья Ивановна за дураков нас принимает? Даже годовалый ребенок умеет отличить большое от маленького. Неужели такие вещи надо изучать в школе?

Но мои одноклассники добросовестно поднимали руки, радуясь легкости вопросов и своему умению отвечать безошибочно.

А Боря Демидов опять нарушил правила. Нетерпеливо покачал поднятой рукой и сообщил:

– Бывает, что один больше, чем два. Один слон больше двух лошадей...

Прасковья Ивановна сказала, что это пока слишком сложный для нас вопрос арифметики.

– Вы будете проходить это во втором классе... Соломон, перестань толкать соседку... Сейчас будет звонок с урока. Все тихонько возьмут портфели, встанут парами и пойдут со мной на двор.

Двор был просторный. Летом его не топтали, и всюду росли подорожники и мелкая городская ромашка. А по краям подымались заросли крапивы и белоцвета. Гуще всего – у дальнего кривого забора, где стояла дощатая уборная. Двор лежал между школой и стройной церковью, чья башня, как белый маяк, высоко уходила в небо. А небо, кстати, опять было безоблачным, ласковым. От улицы двор отделяла высокая церковная ограда с кирпичными столбами и железными копиями. У этой ограды все сложили сумки и «чумы». А я – свой «дырчатый футляр».

Прасковья Ивановна велела нам встать в круг. Началась игра «третий-лишний». Ну, игра как игра, знакомая еще по детскому саду. Я беззаботно бегал и прыгал, как и остальные. пока не увидел, что у калитки стоят мой брат Сережа и Володя Шалимов.

Ура! Значит, школьный день закончился! Я вышел из круга, подобрал свой бумажный футляр и громко заявил:

– Прасковья Ивановна, я пошел домой! До свиданья!

– Подожди, еще нельзя! Занятия еще не кончились!

– Как это не кончились, если за мной пришел Сережа!

– Сережа подождет! Сейчас урок физкультуры!

– Ну что за глупости вы говорите! – искренне удивился я. – Какой же это урок!

Будучи эрудированным ребенком, я знал, конечно, что бывают уроки «физры». Но был уверен, что они, как и все остальные, проходят в классе. На них, думал я, выучивают названия всяких футбольных команд, читают про спортивные соревнования и знаменитых чемпионов. Потому что это же у р о к. При чем тут бегалки-прыгалки? А если класс вывели на свежий воздух и устроили игру – это уже послеурочное время, развлечение перед тем, как за нами придут из дома старшие. Не бывает уроков на дворе!

С футляром под мышкой и с полным сознанием своей правоты я двинулся к калитке. Прасковья Ивановна ухватила меня за руку.

Меня! За руку! Насильно!

В ту пору даже эрудированным людям не было известно выражение «права человека». Но то, что эти права должны соблюдаться, я с малых лет ощущал инстинктивно. Если, например, брат или сестра сгоняли меня с кровати («не читай лежа!») или, наводя порядок, стряхивали со стола моих бумажных солдатиков, я негодуя орал:

– Ка-ко-е вы имеете право, паразиты!

А тут не брат, не сестра, а посторонняя женщина ухватила меня и держит!

Не стерпев насилия, коротко взревел я и вырвался.

– Как ты смеешь не слушаться учительницу!

Неужели она думает, что я обязан подчиняться ей во всем и даже продолжать эту глупую игру, когда за мной пришел старший брат?

Это лишь в армии рядовые бойцы должны выполнять абсолютно все приказы командиров. Но там дело военное, они присягу давали. И я с полным знанием вопросов иерархии заявил своей первой учительнице:

– Вы не командир, а я не рядовой!

Подскочивший Сергей пытался мне что-то объяснить, а Володя иронически хмыкал. Но распаленный праведным гневом, я не внял и доводам старшего брата. Если он с чиклой заодно, наплевать и на него! Я вышел из калитки и зашагал по деревянному тротуару. Дорогу к дому я знал отлично.

Меня не держали. Но в этот день, четвертого сентября тысяча девятьсот сорок пятого года, я впервые услышал слова, которые потом, увы, слышал неоднократно. И которые в свою ученическую пору слышат очень многие люди:

– Завтра без мамы в школу не являйся!..

Впрочем, все обошлось. Дома меня не ругали, и мама, когда пришла на обед, даже подарила мне десять рублей: в награду за первые школьные труды. А потом (как я узнал позже) сходила в школу, и они с Прасковьей Ивановной повздыхали и посмеялись над строптивостью неотесанного первоклассника.

А я с братом пошел на толкучку и, отдавая дань еще не забытому дошкольному детству, купил у щетинистого старика игрушку: тележку на палке. Когда ее катили по тротуару, над колесами вертелись маленькие пестро раскрашенные кольца. На скорости они превращались в разноцветные шары. Замечательная была тележка....

На следующий день Прасковья Ивановна не вспоминала о нашей ссоре. Тем более что я потерпел от школы первый урон. Накануне я забыл в парте свою вязаную шапочку. Когда спохватились и брат прибежал в школу, шапки в парте не оказалось. Спёрли.

Забегая вперед, скажу, что в течение недели я посеял еще две таких шапочки, после чего стал ходить в школу в большой выгоревшей пилотке, которую подарил мне Лешка Шалимов. Он же отыскал в своем хозяйстве старый клеенчатый ранец с полуоторванной крышкой. Дядя Боря суровыми нитками пришил крышку, и я, избавившись от футляра с дырками, стал совсем такой же, как другие первоклассники тюменской начальной школы номер девятнадцать. По крайней мере, внешне.

Но излишняя эрудиция еще не раз портила мне жизнь.

Как лает собачка

На уроке чтения проходили букву «у».

– Как гудит паровоз?

– У-у-у!..

– Хорошо. А теперь из буквы «у» и буквы «а» составим два слова. Как плачет маленький ребенок?

– Уа-а-а! – догадливо выл наш первый «А», потому что на этот счет была в букваре картинка и соответствующая подпись.

– Правильно. Только тише... А кто знает, как кричат дети, когда заблудятся в лесу?

Знали все:

– Ау-у-у!!

– Верно. Только надо не кричать хором, а поднимать руки...

Боря Демидов поднял руку. И сообщил, что когда он летом отстал от взрослых в бору под деревней Падерино, то кричал не «ау!», а «мама!». С перепугу. Хотя мамы в лесу вовсе не было, а были бабушка и тетя Зина.

Прасковья Ивановна снисходительно согласилась:

– Бывает и так. Но словом «мама» мы займемся позже, когда познакомимся с буквой «м-м-м»... Тонкошеев! А ты почему опять глазеешь в окно и не участвуешь в уроке? Хочешь остаться на третий год?

– Не-а, не хочу, – сказал Тонкошеев.

– Если будешь зевать и отвлекаться, поставлю у доски на весь урок.

– Ладно, – покладисто сказал Тонкошеев. Он считал неразумным ссориться с «чиклой» по пустякам.

Второгодника Серегу Тонкошеева мы уважали. Он был самый большой среди нас. Даже суровые четвероклассники милостиво брали его играть в чики, когда затевали это запретное дело в узком пространстве между забором и поленницей, недалеко от уборной. Нам же, «мелкокалиберным», дозволено было лишь молча наблюдать за звонкой азартной игрой, ибо не было у нас ни опыта, ни медных денег в карманах, да и сами-то карманы имелись не у каждого...

Не знаю, почему у Сереги не ладилось с учением. Вообще-то он был совсем не дурак, а в житейских вопросах проявлял просто взрослую мудрость. К нам, своим одноклассникам, относился он беззлобно. Учил полезным вещам. Например, как из катушки от ниток, резинки и палочки сделать заводной трактор, а из куса киноплёнки – звонкую щелкалку.

В кармане длинных мешковатых «шкер» Серега носил пугач, сделанный из медной загнутой трубки и гвоздя. Однажды он пальнул из этой штуки за уборной, в окружении восхищенных зрителей. Правда, кто-то на него «определил», и пугач отобрали, но Тонкошеев сказал «ништяк» и на следующий день принес новый.

Свою силу Серега к нам не применял. Только один раз надавал пинков Семке Левитину, который отказался делиться хлебом и ливерной колбасой, хотя было сказано: «Сорок семь – делим всем!»

Несмотря на обширные пробелы в школьных знаниях, с буквой «у» Тонкошеев был, конечно, знаком. Поэтому скучал. Я тоже скучал на всех уроках чтения. И смотрел сквозь стекло во двор. Там белела стена церкви с двумя рядами узких окон. Окна были окружены лепными украшениями. Я (эрудированный ребенок) знал, что это называется «барокко». В окнах виднелись кованые решетки с завитушками. За ними была темнота, и в ней неярко, словно свечки, искрились желтые лампочки. Я знал, что церковь называется еще и по-другому – «храм». И то, что в ней после революции, когда отменили бога, сделали библиотеку, было мне понятно. Я читал где-то, что библиотека – это «храм знаний». В здешнем храме знаний был детский отдел, мама записала меня туда, и я уже взял книгу «Каштанка». И за два вечера прочитал ее.

Я стал размышлять о Каштанке. Она мне нравилась. И я был рад, когда нашлись ее прежние хозяева – столяр Лука Александрыч и его сын Федюшка – и она с ними отправилась домой. Но все же было жаль, что Каштанка не стала цирковой артисткой. Разве нельзя было

договориться, чтобы она жила дома, а Федюшка по вечерам приводил бы ее в цирк на работу? Сам бы заодно мог бесплатно смотреть все представления...

Задумавшись, я вовсе отвлекся от урока.

Это происходило уже не в тот день, когда «уа» и «ау», а позже.

Вытряхнул меня из задумчивости вопрос Прасковьи Ивановны:

– А теперь кто мне скажет: как лает собачка?

Это было словно продолжение моих мыслей о Каштанке. О собачке!

Я вскинул руку и затряс ею от нетерпения! Я знал, как лает собачка!

Во всем нашем квартале на улице Герцена – от Первомайской до улицы Дзержинского – не было пацана, который бы лучше меня мог изобразить собачий лай. Когда я ради забавы заливался веселым дворняжечьим твяканьем или начинал размеренно гавкать, как пожилая, уставшая от трудов овчарка, по всем дворам откликались окрестные псы.

Этот «собачий» талант был частью моей эрудиции.

Лишь бы Прасковья Ивановна вызвала меня! Уж здесь-то я сумею показать, на что способен! Это не нацарапанные карандашом палки и крючки на тетрадной бумаге, которые никак не хотели меня слушаться и выстраивались на линейках столь же бестолково, как наш класс на зарядке, которую мы делали на дворе перед уроками...

– Ну хорошо, пусть скажет Славик...

Я вскочил и набрал в грудь воздух. И для начала выдал рассыпчатое, скандальное лаянье шпица Марсика, который жил в конце квартала, в доме хирурга Сазонова. Потом откликнулся на него хриловатым, но жизнерадостным голосом полубеспризорного коротконогого кобеля по кличке Моряк, обитавшего у нас во дворе. Затем изобразил гулкое гавканье сторожевого Джека, сидевшего на цепи у крыльца моей хорошей знакомой Галки Лазарчук. И завершил эту собачью кантату дурашливым щенячьим «ав-тяф-тяф-ррр», словно расшалившийся трехмесячный Шарик загнал на забор соседскую кошку и веселится от души.

После этого я замолчал, чтобы снова набрать побольше воздуха. И услышал какое-то нехорошее молчание класса. И увидел поджатые губы Прасковьи Ивановны.

Деревянным голосом Прасковья Ивановна сказала:

– Нет. Собачка лает не так. Сядь... Кто скажет правильно?.. Скажи, Соломон.

Я ошеломленно плюхнулся на скамью. А Семка поднялся и добродетельным голосом произнес:

– Собачка лает: «Ам! Ам!»

– Молодец. Садись.

Что же такое? Я с великой жаждой правды глянул на соседку Вальку Малееву. Она была честная и справедливая. Но и она сейчас меня не поддержала. Сказала одними губами:

– Эх ты... В книгу гляди...

Перед Валькой лежал раскрытый букварь. Там была картинка: румяный мальчик высоко поднял не то горбушку, не то пряник, а под рукой у него подпрыгивала кудлатая собачонка. Подобный рисунок я потом не раз видел на конфетных фантиках «Ну-ка, отними!». А здесь было написано: «Ам».

Но это же совсем другое дело! «Ам» – это когда кто-то что-то слопал. Например, в детской книжке-раскладушке жаба проглотила комара: «Ам!». Или соседка тетя Тася уговаривает годовалого Вовку: «Кушай кашку. Давай быстренько открой ротик и – ам!»

При чем здесь собачий лай! Прасковья Ивановна просто никогда не имела дела с собаками и все перепутала!

Я вскинул руку, чтобы объяснить недоразумение... и опустил. Кое-какой школьно-жизненный опыт у меня уже накопился. И я сообразил наконец, что моя правда здесь никому не нужна. Нужно другое: показать, как буква «а» сочетается с другой буквой – «м-м-м» в короткое слово. И потому собачка будет лаять так, как того требует учебная программа.

Наверно, в этом была своя, школьная, справедливость.

Но с моим понятием о справедливости и объективной истине это никак не увязывалось. И сделалось так обидно, что намокли ресницы. Валька сочувственно вздыхала рядом...

А вдобавок ко всему Прасковья Ивановна после урока сказала:

– Славик, попроси маму зайти в школу, я хочу поговорить с ней.

Я независимо повел плечом:

– Пожалуйста.

Неприятностей я не боялся. Мама всегда меня понимала, поймет и на этот раз. Но по-прежнему было очень горько. И я сказал в спину Прасковье Ивановне:

– Все равно собачка лает не так...

Впрочем, тихо сказал, почти шепотом, она не услышала. Зато услышал Серега Тонкошеев.

– Голова твоя, пшёнкой набитая. Если говорят «ам», значит, – «ам». Никогда не твякай при начальстве, добром не кончится.

Я уже упоминал, что был Серега не по-детски мудр.

Но я не внял совету Сереги Тонкошеева. И в детском возрасте, и потом я часто твякал при начальстве. И даже н а н а ч а л ь с т в о. Такое поведение не раз осложняло мне жизнь. Однако это уже тема для других рассказов. А рассказ о собачке я кончаю. На таком вот вздохе – задумчивом, хотя уже и без прежней горечи...

Зачем бороться с песнями

Занятия в школе начинались в восемь. Вставать приходилось в семь. Точнее, в четыре минуты восьмого. Этот маленький кусочек времени я раз и навсегда выторговал у мамы: «Ну, пожалуйста! Можно, я полежу, полежу, пока играют гимн!».

Просыпался я незадолго до семи. И с растущей тягостью в душе прислушивался к бормотанию радио. Бормотание стихало, в чутком бумажном репродукторе накапливалась напряженная тишина. Ох, сейчас... И включались куранты Кремля! С раздражающей громкостью колокола выговаривали насмешливую, безжалостную мелодию:

Длинь-длинь-длинный день впереди...

Длинь-длинь-длинь, мы спать не дадим...

А потом: бум... бум... – гулкие удары. Пять раз (потому что там, в столице, всего пять часов, счастливые московские школьники могут спать еще целых два часа!). Затем, словно еще один удар, самый громкий и раскатистый, – музыкальный аккорд. И хор:

Союз нерушимый республик свободных...

В гимне двадцать четыре строчки – три куплета и три припева. И каждая пропетая строчка приближала меня к зябкому моменту, когда надо вылезать из постели.

Ох как ненавидел я эти въедающиеся в мозг слова, эту тяжкую, неотвратимую мелодию. Понимал, что это нехорошо, даже преступно, и все равно ненавидел. Словно само государство негибимой своей волей загоняло меня, семилетнего, полусонного, в слякотный осенний день, в серые школьные будни...

Это ощущение сохранилось на всю жизнь. Даже когда я сделался совсем взрослым, стал писать книжки и мог вставать по утрам когда вздумается, мелодия гимна вызывала в душе тревогу и неуверенность. Она была напоминанием о равнодушной всеильной власти, которая может сделать с тобой все что хочет.

Потом наступил девяносто первый год. Гимн сделался сперва вроде бы не обязательным, а вскоре и совсем отмененным. И однажды на телеэкране я увидел, как волосатые парни с электрогитарами и синтезаторами кривляются под знакомую мелодию.

И стало обидно.

Ну да, я не любил эту музыку и эти казенные слова про «Союз нерушимый». Но все же в моей сознательной жизни другого гимна у меня и у моей страны не было. И, в конце концов, именно с этим гимном победили мы Гитлера, встречали вернувшегося из полета Гагарина, радовались победам наших олимпийцев. Зачем же теперь плевать внутрь самих себя! Плевки – не целебный бальзам, ими не вылечишь изболевшуюся душу.

И гимн, и старые песни, с которыми жили много лет, надо спокойно сохранить для истории, а не делать из них музыку для клоунад. И ставшие ненужными знамена следует оставить в хранилищах и музеях, а не торговать ими на Арбате. А то, глядишь, сами не заметим, как распродадим не только прошлое, но и настоящее.

Вот такие мысли у меня сейчас, в девяносто втором году. Кстати, в году не менее трудном, чем сорок пятый.

И даже те минуты, когда я, первоклассник, сжимался в постели под неумолимую государственную мелодию, вспоминаются теперь без прежней зябкости, со снисходительной усмешкой.

Но это теперь. А тогда... Ох, вот уже спели и о том, что «мы армию нашу растили в сраженьях...» Вот и последний припев кончается:

Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

Не к победе оно ведет, а к тому, что надо вылезать из-под теплого одеяла. Натягивать заштопанные, отвратительно длинные чулки, которые путаются и перекручиваются. Потом – штаны, которые норовят надеться задом наперед (хотя перепутать вроде бы трудно: зад отмечен квадратной заплатой). Затем – тонкий разношерстный свитер – он был когда-то голубым, а сейчас белесо-сизый от частых стирок. И после этого брести на кухню, бренчать там рукомойником, в котором гадостно-холодная вода.

– Зачем ты надел свитер, не умывшись? Все у тебя не так...

Мы с мамой вдвоем. Брат и сестра укатили в Одессу – учиться в индустриальном институте. В тот замечательный город, куда всем известный Костя приводил шаланды, полные кефали. Там хорошо, на юге-то. До сих пор тепло, и море рядом.

– Ты все домашние задания сделал? Смотри, а то опять Прасковья Ивановна будет жаловаться... Садись, ешь картошку... Ох, да шевелись же ты, опоздаешь ведь!

Маме тоже скоро на работу, в свою контору. А за короткие полчаса между моим и своим уходом она должна «проверить уйму всяких дел».

Сквозь тонкую стенку слышно, как соседка тетя Лена торопит «ирода проклятущего» – Лешку Шалимова. Но я вместе с Лешкой сегодня не пойду, мы очередной раз поссорились. Семка Левитин за мной тоже не зайдет, он копается больше меня и часто опаздывает.

– Да шевелись же ты, не спи на ходу...

Я не сплю. Я надеваю сшитое из маминого суконного жакета пальто, натягиваю на уши пилотку, сую ноги в резиновые сапожки. Без такой обуви нынче до школы не доберешься. Во рту горько от подгоревшей жареной картошки.

– Мама, дай попить.

– Господи боже мой, что за несчастье! Все в последний момент!.. Пей и отправляйся... И не вздумай опять лезть в споры с Прасковьей Ивановной.

Больно мне надо лезть в споры. Лишь бы сама не придиралась...

– И не суйся в лужи, обходи стороной.

Ха, обходи! Как их обойдешь, когда вся дорога на улице Дзержинского – сплошная вода и месиво. Вчера даже зачерпнул голенищем...

– Везде непроходимо. Борька Демидов свою калошу в грязи утопил...

– Иди, иди скорее, опять опоздаешь на зарядку!

Приходить надо не к восьми, а за пятнадцать минут до начала занятий. Потому что перед уроками мы еще делаем зарядку – прямо в классе, между рядами парт – а после зарядки поем Гимн Советского Союза. Да-да, опять гимн! Никуда от него не денешься. Говорят, это распоряжение горono.

Чтобы петь правильно, мы разучивали этот гимн с первого урока пения. Впрочем, выучили быстро. Потому что и без того каждое утро слышали его по радио. И скоро на уроках пения стали разучивать другие песни.

Эти песни тоже были не новые. Или военные, или про Сталина. Их часто передавали по радио, а некоторые я помнил, с детсадовских времен.

Но все равно к каждой песне мы подступали, словно к незнакомой. Сперва за Прасковью Ивановной повторяли строчку за строчкой – учили наизусть. Затем хором декламировали целый куплет. После этого Прасковья Ивановна, запахнув на груди серый пушистый платок и глядя в пасмурное окно, пела этот куплет тонким голосом – чтобы мы запомнили мелодию. И мы после нее пели все вместе. Очень усердно. Мокрые стекла вздрагивали. На них темнели прилипшие листья облетающих тополей.

Прасковья Ивановна морщилась:

– Надо правильно исполнять мотив. Слушайте еще раз...

Насколько я помню (а слух у меня был приличный), мелодию она пела точно. Однако я каким-то внутренним чутьем понимал, что петь перед нами Прасковья Ивановна стесняется, хотя и старательно давит в себе это смущение. Я переживал за нее. И, видимо, оба мы почувствовали облегчение, когда нашелся выход.

Оказалось, что у Семки Левитина чистый и высокий голос и петь Семка любит. И главное, ничуть не боится петь перед классом. И весь репертуар тогдашнего радио (а также кое-что сверх того) Сема знал отлично. И теперь Прасковья Ивановна говорила:

– Соломон, иди ж доске. Покажи нам, как поется эта песня.

Семка выходил. Слегка розовел от удовольствия круглыми щеками, брался за галстук матроски, вытягивал шею и...

В атаку стальными рядами
Мы поступью твердой идем!
Родная столица за нами,
Рубеж нам назначен вoждем...

Самые нетерпеливые подхватывали, не дождавшись команды:

Мы не дрогнем в бою
За столицу свою...

Никакого музыкального сопровождения у нас не было. Ни пианино, ни баяна, ни даже мандолины, как, например, в первом «Б» у Анны Дмитриевны. Однако ни Семку, ни всех нас это обстоятельство не смущало.

В бой за родину, в бой за Сталина,
Боевая честь нам дорога! –

вдохновенно орали мы песню про красных конников, и делом «боевой чести» казалось нам перекричать первый «Б», у которого тоже шел урок пения, что и было слышно через две закрытые двери и вестибюль.

Кони сытые бьют копытами!..

...Когда приблизился праздник Октябрьской революции, мы взялись за песню, которую полагалось хором исполнять на торжественном утреннике. Разумеется, о «великом друге и вожде».

Вообще-то это была первомайская песня. По крайней мере, в моем представлении. Помню синее, уже теплое небо, молодую зелень тополя, распахнутое окно, ветерок надувает занавеску, а в отдалении ухает оркестр. Брат и сестра собираются на демонстрацию. Мы с мамой тоже пойдем, только не в колонне, а смотреть на демонстрантов с тротуара. Я радостно нервничаю: не опоздать бы! А жиденький репродуктор дребезжит, надывается:

На просторах родины чудесной,
Закаляясь в битвах и труде,
Мы сложили радостную песню...

Праздник Октября, он без тепла и свежей зелени, но все равно хороший. Как и Первомай, с оркестрами и знаменами. На главных домах города вокруг больших портретов вождей будут гореть желтые пунктиры лампочек. И будут светиться пятиконечные звезды – они сделаны из досок, затянуты красным ситцем, а внутри у них тоже лампочки. Но самое главное – это два нерабочих и неучебных дня! (Осенних каникул тогда еще не было.) Придут гости с патефоном, мама приготовит что-нибудь вкусное (может быть, даже пельмени, если найдется мука). Артур Сергеевич принесет пару банок с бычками или камбалой в томате...

Поэтому песня «На просторах родины чудесной» всегда пахла для меня винегретом, пельменями и другими праздничными блюдами.

Полностью эту песню я уже не помню, но припев засел в голове навеки:

Сталин – наша слава боевая,
Сталин – нашей юности полет!
С песнями борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.

Слова эти запомнились потому, что в семилетнем возрасте я часто размышлял над ними.

Три строчки из четырех были вполне понятны.

Я не раз видел снимки и плакаты, где наши танки с надписью на башнях «За Сталина» шли в атаку на фашистов. Поэтому он и есть наша боевая слава. Яснее ясного.

Во время военных парадов в Москве над Красной площадью проносились самолеты, выстроенные в большущее слово СТАЛИН. Это я тоже видел на газетных снимках, а один раз даже в кино. А летчики – они ведь все молодые. Вот поэтому – «юности полет».

То, что «наш народ за Сталиным идет», было тоже объяснимо. Разноцветный плакат насчет этого висел у нас в классе, между окнами. На уроках чтения, от нечего делать, я так часто разглядывал его, что помню со всеми подробностями.

Внизу желтыми буквами было написано: «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина вперед к победе коммунизма!» Знамя Ленина – густо-алое, волнистое, с темным

профилем добродушно сощуренного Владимира Ильича – служило фоном. На этом фоне и стоял великий вождь и лучший друг всех советских детей, следовательно, и мой. (К последнему обстоятельству я, правда, относился с некоторым сомнением. Откуда Сталин может знать про меня, первоклассника школы номер девятнадцать города Тюмени? Школа эта так далеко от Кремля! А если не знаешь человека, то как можно с ним дружить?) Сталин – в маршальском мундире, но без фуражки – вытягивал вперед руку. Показывал в сторону коммунизма, к которому следовало идти.

Что такое «коммунизм», я приблизительно знал. Мне еще давно объяснили это брат Сергей и сестра Людмила. Они рассказывали, что наступит такое время, когда не будет войны и хлебных карточек и все станут жить счастливо. В городах выстроят сплошь стеклянные дома с золотыми крышами, всюду откроют бесплатное кино, а в магазинах окажется полным-полно товаров. Бери, что пожелаешь, и тоже совершенно бесплатно.

– Всё растащат за один день, – уверенно сказал я.

– Зачем же тащить? – возразила Людмила. – У каждого и без того будет все, что им нужно. и люди отвыкнут быть жадными.

– Как это все, что нужно? – не поверил я. – И даже двухколесный велосипед будет у любого человека?

– Конечно, – отозвался Сергей и вздохнул. Велосипед был мечтой его жизни.

– И даже легковая машина, – уверенно заявила Людмила. – А если захочешь, то и свой самолет.

– Ну уж тут ты совсем завралась! – не выдержал я.

– Честное комсомольское! Это ведь при коммунизме!

Я прекрасно понимал, что иметь самолет захочет каждый. И представил себе нашу улицу Герцена времен коммунизма. Кровельные листы на крышах – не из ржавого железа, а из чистого золота (вот сверканье!), бревна стен, двери, наличники. ставни и даже водосточные трубы сделаны из стекла. И доски заборов – тоже стеклянные. А за этими прозрачными заборами стоят самолеты. Если у каждого жителя свой, то в нашем дворе – не меньше трех десятков. Поместятся ли? А как взлетать в такой тесноте? Ведь разбег нужен... Ка-ак зацепит колесами за стеклянный забор – вот звону будет!..

Но самое главное – какая теснота получится в небе!

Дядя Боря как-то рассказал мне про катастрофу, которая случилась еще до войны над Москвой. На каком-то празднике. Истребитель описывал петлю вокруг громадного, со множеством пассажиров, самолета «Максим Горький» и зацепил его. От «Максима Горького» и от истребителя – одни обломки. Никто не спасся.

А ведь самолетов-то было там всего два! Что же будет, если каждый начнет взлетать когда вздумается! Я даже зажмурился. И тут же высказал свои соображения сестре и брату. Они меня успокоили. Коммунизм, сказали они, наступит еще не скоро, и к тому времени люди придумают, как обезопасить полеты.

– А когда он наступит?

– Ну... когда ты станешь совсем взрослым.

Я сразу перестал бояться. Время, когда я стану взрослым, лежало в таком невероятном будущем, что не стоило пока и размышлять о нем всерьез.

Но все-таки оно должно было, наступить, это время. И коммунизм. Недаром Сталин показывал в его сторону таким уверенным жестом. Он-то знал, куда показывать.

И народ на плакате бодро шагал в этом направлении.

Люди, составлявшие народ, были по сравнению с вождем словно лилипуты перед Гулливером (эту книжку я уже читал). Зато их было много: шахтеры с отбойными молотками, колхозницы со снопами, инженеры с рулонами чертежей и линейками, военные в пилотках и

шлемах. И среди взрослых – мальчишка в красном галстуке и с книгой под мышкой – наверняка отличник.

Все это и означало: «Наш народ за Сталиным идет».

Непонятно было только одно: почему «с песнями борясь и побеждая?» Зачем, дружно двигаясь за товарищем Сталиным, надо при этом бороться с песнями и побеждать их? Песни – они же совсем не враги. Они, наоборот, всегда помогают людям. «Нам песня строить и жить помогает!»

Может быть, имелись в виду иные песни? Например, те, что пели фашисты, когда нападали на нашу страну? Но тогда следовало точно сказать об этом, иначе сплошная неясность.

Несколько раз я хотел спросить про это у мамы или у Сергея и Людмилы. Но что-то меня останавливало.. Ощущением, что разгадка совсем простая и при ответе можно заработать снисходительную усмешку. Надо разобраться самому.

И наконец я разобрался! Нашел!

Помогли детские стишки:

Разошлись на небе тучи.
Смех и игры на лугу.
Споря с ветерком летучим,
Дети к солнышку бегут!

Не помню, где я эти строчки услышал или прочитал. Не исключено, что в какой-нибудь книжке-раскладушке или в «Мурзилке» – много старых номеров этого журнала валялось в комнате Лешки Шалимова.

Главное – другое: слова «споря с ветерком летучим» Ветерок – он ведь ребячий друг (и нам во дворе он помогал запускать змеев-монахов), однако с ним можно спорить. А спорить и бороться – это почти одно и то же!

Однажды мы с Толькой Петровым сцепились в драке, а дядя Боря вышел на крыльцо и сказал:

– Чего зря царапаетесь, как дурные коты? Если хочется силу попробовать, лучше побойтесь по-спортивному. Устройте соревнование.

И мы послушались, устроили матч цирковой борьбы. И я уложил Тольку лопатками на кучу опилок, что скопилась рядом с дровяным сараем.

Бороться – это, выходит, соревноваться, соперничать в силе и удали!

И, значит, когда народ борется с песнями – он соревнуется с ними в задоре, веселье и силе, которых в наших советских песнях, разумеется, очень много.

Ура! Я отыскал разгадку!

Это случилось как раз незадолго до праздника Октября.

Я был радостно возбужден своим открытием. И чтобы окончательно утвердиться в его правильности, решил уточнить у Прасковьи Ивановны. Однако подошел к делу не прямо, а с хитринкой. На уроке пения, когда очередной раз проголосили вслед за Семкой знакомый припев, я поднял руку и спросил:

– Прасковья Ивановна, а зачем надо бороться с песнями, когда мы идем за товарищем Сталиным? Ну, «с песнями борясь и побеждая?»

Все притихли. Правда, зачем? Прасковья Ивановна пристально посмотрела на меня. Помолчала. Подергала на груди края пухового платка. И, видимо, наконец поняла суть вопроса.

Она сказала сухо и утомленно:

– Ты, Славик, поешь не думая, поэтому ничего не понял. Там, в тексте песни, есть запятая. Она ставится для мысленной остановки, для раздела между словами. «С песнями, –

запятая, – борясь и побеждая...» То есть народ идет за товарищем Сталиным с песнями.. Идет и поет. Ясно?

– Ясно... – потерянно отозвался я.

Валя Малеева сочувственно вздохнула рядом. Она всегда жалела меня.

– В песне запятые не всегда поются, но помнить про них надо обязательно, – разъясняла между тем Прасковья Ивановна. Уж не мне, а всем. – Хотя вы еще знаки препинания не проходили, мы будем их изучать позже...

Я сидел понурившись. Значит, все дело в запятой. В крошечном крючочке. И никакого состязания с песнями. Все гораздо проще и скучнее... Опять школа загнала мою фантазию в строгие рамки.

Впрочем, знаки препинания – вещь полезная. Особенно точка. Которую мне и остается поставить в этой истории про запятую.

Как я редактировал Льва Толстого

В середине ноября у меня с Прасковьей Ивановной случился еще один памятный разговор.

Я с первых школьных дней испытывал досадливое недоумение, когда слышал, как неверно Прасковья Ивановна произносит названия некоторых букв. Вместо «эм» она говорила «м-м-м», вместо «пэ» – «п-п-п» (с паровозным припыхиванием), вместо «ша» шипела, как футбольный мяч, из которого выпускают воздух. «Эн» у нее называлось «н-н-н», «эф» – «ф-ф-ф» и так далее. Видимо, ее в свое время неправильно учили, и теперь она так же неправильно учила нас.

Но я-то с незапамятных времен знал точные имена всех букв алфавита. Как-никак я был сын преподавателя русского языка и литературы.

И однажды я почувствовал, что больше терпеть не могу. Я искренне хотел восстановить истину и заодно помочь Прасковье Ивановне.

Я поднял руку. Встал.

– Прасковья Ивановна, вы неправильно говорите. Надо говорить не «р-р-р», а «эр» и не «х-х-х», а «ха»...

Прасковья Ивановна посмотрела на меня долгим взглядом. Помню, что сжала в кулаках концы пухового платка. Помолчала, посмотрела в окно.

– Славик, то, что ты говоришь, мы будем изучать во втором классе. А пока мы просто запоминаем, как произносятся обозначаемые буквами звуки. Чтобы легче было складывать слова. Потому что... не все такие... развитые, как ты. Сядь.

Я сел. С новым недоумением в душе. Разве бывает, чтобы в первом классе буквы назывались так, а во втором иначе? Ерунда какая-то...

Но слово ерунда я сказал таким тихим шепотом, что это слышала лишь Валька Малеева (и опять вздохнула). Возражать вслух не имело смысла. Я снова убедился, что логика школьной жизни не всегда в ладу со здравым смыслом. И спорить с этим, видимо, бесполезно.

Потом про этот случай Прасковья Ивановна рассказала моему отцу. Нажаловалась. Отец в те дни как раз вернулся из Германии. Демобилизованный. Он посмеялся:

– Знаю, знаю, как ты учил грамоте свою учительницу. Эрудит...

Но смеялся отец с грустной ноткой. Потому что приехал он ненадолго. Разводиться.

В ту пору такие истории были не редкость. Война разламывала семьи не только тогда, когда отцов убивали. Иногда долгая разлука и всякие «жизненные обстоятельства» сами по себе рвали семейные связи. Не менее жестоко, чем бомбы и снаряды.

Вскоре отец уехал в Белоруссию, к новой жене. А у меня появился отчим. Тот самый мамин знакомый во флотском кителе, Артур Сергеевич.

С моей родной улицы Герцена мы переехали на Смоленскую, в похожую на каюту комнатку со стенами, обитыми некрашеной фанерой. Мама не хотела оставаться на старой квартире и каждый день слышать соседские пересуды.

Оказалось, что отчим – человек нервный, с тяжелым характером, к тому же пьющий. И немудрено. Несколько лет он «оттрубил» в северных лагерях, потому что объявлен был «врагом народа». Повезло еще – выкарабкался.

Бог ему судья. Попортил он жизнь маме и мне, но и кое-чему полезному меня научил. Например, делать рогатки, давать сдачи обидчикам, стрелять из охотничьего ружья и разбираться в истории русского флота.

Сам Артур Сергеевич этой историей очень увлекался. Особенно Первой обороной Севастополя. Рассказывал мне о знаменитых севастопольских адмиралах, о затоплении кораблей у входа в Северную бухту и о боях на Малаховом кургане и Четвертом бастионе.

От Артура Сергеевича я узнал и то, что великий писатель Лев Толстой не всегда был бородатым старцем (известным мне по портрету из книжки «Рассказы для детей»). В молодости он был безбородым изящным офицером-артиллеристом и воевал на Четвертом бастионе. В ту пору он и написал замечательные «Севастопольские рассказы». Артур Сергеевич с увлечением пересказывал их мне, потому что помнил почти наизусть.

Именно из-за Льва Толстого у меня случилось последнее разногласие с Прасковьей Ивановной.

Было это уже в начале третьего класса.

Требовалось написать домашнее изложение. Прасковья Ивановна прочитала нам рассказ Льва Толстого «Прыжок» и велела:

– К завтрашнему дню напишите в тетрадях так, как это запомнили. Старайтесь писать подробнее, вы уже не маленькие...

И я постарался!

Тем более что рассказ был мне давно известен. Помните? На корабле, который возвращался из кругосветного плавания, была обезьяна – любимица команды. И был мальчик – сын капитана (вот счастливчик!). Однажды обезьяна сорвала с мальчика шляпу и полезла с ней на мачту. Дразнила мальчишку. Все смеялись.

Капитанскому сыну стало обидно, он кинулся за вредным животным, и они вмиг добрались до самого верха. Обезьяна, повесила шляпу на конец перекаладины, мальчик пошел по этой перекаладине и вдруг испугался. Закачался. Чтобы он не разбился о палубу, отец принял единственно верное, хотя и страшное решение: приказал сыну прыгать с высоты в воду и даже пригрозил ружьем.

Кончилось, конечно, все благополучно. И я был рад за мальчика и его отца. А еще рассказ мне нравился потому, что дело происходило в море, на парусном корабле.

С самых давних пор я был равнодушен к морю (которого никогда не видел), к флотской жизни и парусам. В третьем классе я уже прилично разбирался в корабельной оснастке.

И вот я в этом изложении дал волю фантазии, отвел душу.

Рассказ великого писателя я изложил по-своему. «Мальчик не хотел показать, что ему обидно, – писал я. – И чтобы это не показать, он закричал пошел все наверх и бросился за вредной макакой по вантам»...

Именно «по вантам», а не «по веревке», как было написано у Льва Николаевича. Я не мог позволить, чтобы мои знания о такелаже и рангоуте оставались мертвым грузом. Я уточнил насчет мачты, написав, что это была «грот-мачта». Добавил такую деталь, что «обезьяна покривлялась на марсовой площадке». И наконец, сухопутное слово «перекаладина» я заменил строгим корабельным термином «рей». «Обезьяна повесила шляпу на нок рея». «Мальчик отпустил фал и ступил на рей».

В отличной оценке я был уверен. Писал я без ошибок, а что касается содержания... Ну, не могла же Прасковья Ивановна не оценить по достоинству мою морскую эрудицию!

Через день, в конце последнего урока, Прасковья Ивановна раздала нам тетради с изложением.

– Дома посмотрите ваши ошибки и разберитесь в них.

Подавая тетрадь мне, она глядела в сторону. И правильно! Не хочет смущать меня излишними похвалами.

Я настолько был уверен в своем блистательном успехе, что открыл тетрадку лишь на улице.

Белые листы выглядели так, словно на них рассыпали и раздавили клюкву. Все мои морские термины оказались жирно, с кровавыми брызгами перечеркнуты красными чернилами. Везде над словом «рей» было написано «перекладина». «Ванты» заменены были «веревкой». А слова «пошел все наверх» Прасковья Ивановна зачеркнула без всякого исправления.

Под изложением красовалась двойка ростом с мой мизинец. И с похожей на кляксу точкой.

Я сел на краешек деревянного тротуара, напротив крыльца белой церкви-библиотеки. Сунул тетрадку в кирзовую полевую сумку. Съежил плечи и замер в горьком изумлении.

Огорчала не сама двойка, фиг с ней. Но за что меня так?

Ведь перекладина на мачте в с а м о м д е л е называется «рей». И ванты на корабле есть. И марсовая площадка. Просто Лев Толстой этого не знал. Он был, конечно, замечательный писатель и храбрый офицер, отважно воевал в Севастополе. Но ведь не на море, а на берегу. Он был сухопутный человек и просто не знал, как что называется на парусном судне.

А я знал. И что плохого, если я уточнил и поправил Толстого? Ведь я же все правильно написал!

Я не плакал. Я даже не обиделся ни на Прасковью Ивановну, ни на судьбу. Я был просто подавлен вопиющей несправедливостью.

Даже сейчас мне, грузному пожилому дядьке, жаль того девятилетнего мальчишку. Вот он – лопоухий, белобрысый – понуро сидит на краю шаткого тротуара. В тесной суконной курточке с вельветовой вставкой на груди и заштопанными локтями, в застегнутых под коленками брючках, в пыльных брезентовых башмаках и в кепочке (кемеле!) с матерчатой кнопкой на макушке. На кемель этот тихо падают сухие березовые листья. Сентябрьский день – теплый и безветренный. Опять в воздухе висят пушистые семена белоцвета. К тому же завтра воскресенье. Но в душе – ни капельки радости. Подойти бы к мальчишке, хлопнуть по плечу: «Не горюй, все впереди...»

Никто не подошел. Только Семка Левитин, пробегая, окликнул:

– Че сидишь, айда домой! – И даже не остановился, не оглянулся.

Впрочем, сидел я недолго. Поразмышлял еще, пожал плечами и пошел домой.

Дома я без всякой боязни показал тетрадь маме и Артуру Сергеевичу. Отчим добродушно хмыкнул. Высказался в том смысле, что «от них, от не нюхавших моря женщин, чего еще ждать». Мама тоже меня не ругала. Сказала только, что писать изложение надо так, как читает учительница, а не городить отсебятину.

– Но ведь я же все правильно написал! Прасковья просто не понимает!

– Я вот покажу тебе «Прасковью»! У Семки научился?... Надо же, учительница н е п о н и м а е т! Лев Толстой, по-твоему, тоже ничего не понимал?

– Тоже... – буркнул я.

– Толстой писал этот рассказ для маленьких деревенских детей и старался, чтобы им все было понятно. Вот и не использовал всякие корабельные слова.

– Но я-то не для деревенских!..

– Вот когда ты будешь сочинять свои собственные книжки, пиши как тебе вздумается. А великих писателей нечего редактировать, – сказала мама.

Со временем я воспользовался маминым советом. Но в тот давний сентябрьский день я еще не знал, что и правда буду сам писать книги про корабли и путешествия. Хотя в ту пору на моем счету уже был десятистраничный морской роман «Остров Привидения», написанный в сорок шестом году...

Заревел мой полугодовалый брат Леська, и мама отвлеклась от литературного спора. Но я все же пообещал ей вслед:

– Все равно я понедельник скажу Прасковье Ивановне... что неправильно она...

Мама с Леськой на руках оглянулась.

– Ничего ты ей не скажешь. Больше ты в эту школу не пойдешь. На днях мы переезжаем на улицу Нагорную.

Как? Уже? Я знал, что контора, где работал отчим, арендовала две комнаты на какой-то дальней улице. Потому что не могут четыре человека обитать в фанерной каютке. Но не думал, что переезд – дело такое скорое.

– Собирай свое имущество, – сказала мама.

Ну, в ближайшие дни мы на улицу Нагорную не переехали, прошло еще около двух недель. И за это время случилось со мной немало в с я к о г о. Например, история со злой старухой и монетами. Но об этом – в другой повести.

А день переезда все-таки наступил. И после этого началась новая полоса моей жизни: вблизи от реки и старинного монастыря, на краю заросшего бурьяном таинственного лога. Появились новые приятели, и я пошел в новую школу.

Эта школа-семилетка на углу улиц Казанской и Луначарского мне понравилась. Она была просторная, светлая, двухэтажная. В вестибюле блестел желтый паркет, и в углу даже стоял гипсовый бюст Пушкина на голубой фанерной подставке. Это придавало школе академичность. Похоже было на гимназию из книжки про давние времена.

А самое хорошее – то, что школа была мужская, без единой девчонки. Это казалось мне тогда великим преимуществом, хотя о Вальке Малеевой я порой и вспоминал со вздохом.

Впрочем, новая жизнь вовсе не заставила меня забыть о прошлом. Я остался верен душой прежним друзьям и родной улице Герцена. И часто бегал туда играть. Но о старой школе и о Прасковье Ивановне совсем не скучал.

И лишь через много лет первую свою школу и первую учительницу я начал вспоминать с легкой грустью.

Она была совсем не плохая, наша Прасковья Ивановна. Даже голос никогда на меня не повышала, несмотря на все мои фокусы. Возраст у нее был тот же, что и у моей мамы, хотя казалась она мне гораздо старше. Потом я узнал и то, что был у нее сын – мой ровесник. Даже звали его так же, как меня. Может быть, тоже воображал себя эрудитом и доставлял своей учительнице немало «радостей»?

...Через много-много лет я ходил по родной Тюмени с младшим сыном Алешкой. Подошли мы к бывшей школе номер девятнадцать на улице Ленина. И я кое-что рассказал Алешке о том, как учился здесь.

Теперь в этом приземистом особняке помещалось не то районо, не то гороно. Я преодолел свой извечный страх перед педагогическим начальством, потянул на себя дверь, и мы вошли.

Старая лестница была все та же. Кажется, вот-вот съедет к нам по перилам Семка Левитин с растопыренными ногами в разбитых, незашнурованных ботинках и с «чумой» на веревке через плечо...

Или я сам, девятилетний, устремлюсь вместе с одноклассниками по ступеням: наконец-то дежурные разрешили!

– Пошел все наверх!..

Алешка вежливо молчал рядом, отдавая дань моему ностальгическому настроению. Но вскоре потянул меня за рукав:

– Мы еще в универмаг должны зайти за батарейками.

Мы пошли в универмаг я удачно купил там дефицитные круглые батарейки для электрофона «Волна» (которые потом оказались чересчур крупными и не полезли в гнездо).

По дороге Алешка все доказывал мне превосходство музыки группы Битлз перед всей остальной. Я признавал гениальность этих четырех классиков, но осторожно отстаивал мысль, что не следует отрицать и кое-какие другие достижения музыкальной культуры.

На углу у городского сада я купил у лоточницы бутылку пива и выпил его в сквере у цирка (под язвительную лекцию о вреде алкоголя, распиваемого, к тому же, в общественном месте). Сунул пустую бутылку в сумку, где лежали батарейки.

Алексей надулся:

– Вот-вот! Ты пьешь, а я таскай тяжести...

– Зануда какая! Пожалуйста, сам понесу!

– Ладно уж... Пап! Вот послушай, такая загадка. Приходим мы в гостиницу, открываем сумку, а там – одна батарейка – внутри бутылки. Как она в ней оказалась?

– Горлышко же узкое!

– В том-то и вопрос.

– Ну... – Я вспомнил всякую фантастику и стал рассуждать про четырехмерное пространство. – В нем, в этом пространстве, любой предмет может оказаться внутри замкнутой емкости, не разрушая ее...

– Беда с этими эрудитами, – вздохнул Алешка. – Да просто батарейка поссорилась с другими, вот они и загнали ее в бутылку. Когда пятеро на одного, куда угодно влезешь...

– Какой замечательный сюжет! – восхитился я. – Подаришь?

– Пожалуйста, – великодушно сказал Алешка. И мы пошли на вокзал. Пора было добывать билеты, чтобы ехать из Тюмени домой.

Непроливашка

1.

В душе я коллекционер. А точнее говоря, барахольщик. Потому что коллекционеры собирают свои редкости по строгой системе, а я просто так, что придется. В моей комнате полным полно мелких, бесполезных на первый взгляд вещей. Они на полках, на стенах, на подоконнике, на рабочем столе. Здесь, на столе, бросается в глаза одна причудливая штука. Те, кто приходят ко мне впервые, как правило, замечают ее:

– Ух ты, какая интересная вещь! Старинная, да?

Вещь и вправду старинная. Это маленький письменный прибор из бронзы или латуни. Любопытно, что за долгие годы он не покрылся чернотой или зеленью, сохранил лишенный окиси золотистый цвет.

В основании прибора – пластинка размером с крупную плитку шоколада. У нее узорчатые лапки-подставки и обрамление из медных лепестков и завитых ракушек. Такой стиль называется «рококо». Он был моден в восемнадцатом веке. На площадке два круглых гнезда. В одном стоит фаянсовая, лиловая с белым посудинка. Она расписана сентиментальными цветочками и закупорена плоской металлической крышкой. На ободке крышки до сих пор заметны следы позолоты, а сверху в ней множество мелких отверстий. Похоже на перечницу. Но, конечно, это не перечница, а песочница. В давние времена, когда не было промокашек, песком посыпали написанные гусиным пером чернильные строчки – для скорейшего высыхания. А перо макали в чернильницу, которая стояла в соседнем гнезде.

Увы, чернильницы нет, не сохранилась. Это и понятно! Прибор столько лет провалялся в земле.

В шестидесятых годах прошлого века под Москвой, недалеко от поселка Петрово-Дальнее, сносили с лица земли очередную обветшавшую усадьбу. Разумеется, на развалинах копошились местные пацаны – любители тайн и кладов. Они-то и отыскивали прибор. А потом его то ли выменяли, то ли выкупили у мальчишек мои друзья, которые жили в этом поселке. Тоже любители старины.

Я, когда был у друзей в гостях, как говорится, «положил глаз» на эту находку. И стал выпрашивать. Хозяева покряхтели, повздыхали и наконец решили:

– Так и быть, забирай. Ты человек пишущий, тебе такая вещь нужнее.

Конечно, это была шутка. Кто в наше время пишет рассказы и повести, обмакивая перо в чернила! Тем более, что и чернильница-то неизвестно где... Таким образом никакой практической пользы от прибора не было, он мог служить лишь украшением.. Но украшение – тоже польза. А кроме того эта старинная вещь иногда щекочет авторскую фантазию.

Я ведь пока не описал прибор полностью. На нем есть еще рамка, тоже в стиле рококо – из тонко отчеканенных завитков и ракушек. Она вертикально торчит над площадкой, и в ней висит колокольчик. Красивый такой, как бы склеенный из латунных лепестков и листьев. Внутри у него, если приглядишься, тоже можно различить следы позолоты. Мне кажется, что они придают звону особую мелодичность. Голос колокольчика ничуть не потускнел за два (а то и за три!) века. Он чистый и ребячливый, как у мальчиков-колокольчиков из сказки «Городок в табакерке».

Зачем этот звонок на письменном приборе? Ясное дело, чтобы хозяин, не вставая из-за стола, мог вызвать кого-нибудь из домашней obsługi.

Я трогаю край колокольчика авторучкой: длинь... Конечно, ко мне на этот звон никто не придет. Только любопытные коты Макс и Тяпа просовывают в дверь усаые морды. Но я

вновь толкаю колокольчик. Бужу воображение. Представляю, как было раньше. В те времен, когда прибор стоял в кабинете у хозяина усадьбы, на бюро из красного дерева (тоже в стиле рококо)

Мне почему-то кажется, что хозяином был пожилой обедневший граф. Однажды я даже придумал ему имя; Андрей Гаврилыч Трубочинский.

Я вижу, как Андрей Гаврилыч в потертом плющевом халате (шлафроке!) сидит у бюро и водит по бумаге растрепанным гусиным пером. За высокими, с полукруглым верхом, окнами снежное, искрящееся от солнышка утро. Потрескивает кафельная печь. Потрескивает от всякого движения и разошедшееся от старости бюро. Граф уже выпил кофию, но завтрак еще не приносили, есть время для письма... Андрей Гаврилыч ставит наконец подпись и трясет над листом песочницей. Погода, сдувает песок. Хлопает обгрызанным концом пера по колокольчику. Раз, другой... . Наконец появляется из-за двери сутулый и морщинистый камердинер – в малиновой ливрее с пожухлым позументом, в сморщенных чулках и валеных туфлях вместо положенных башмаков с пряжками.

– Слушаю, батюшка Андрей Гаврилыч...

– Плохо ты слушаешь, Федотыч. Я тут звоню, как Петровский монастырь к заутрене, а тебя все нет...

– Виноват, батюшка. Прилег на лавке, ночь-то всю как есть глаз не сомкнул, поясница ноет, окаянная... Чего прикажете? Завтракать в зале будете или сюда чтобы принесли?..

– Вели Ермолаю оседлать Персея, да пускай едет не мешкая в столицу, отвезет письмо княгине Софье Павловне. И на словах пусть добавит, что барин будет у нее непременно, как только вылечит простуду.

– Батюшка Андрей Гаврилыч! Да неужто захворали? Я велю Авдотье, чтобы малину...

– Для нее захворал, для княгини. Опять прислала билет: извольте, граф, быть на балу. Чего я там не видел? Менуеты с девицами танцевать годы мои давно не те. Одно только дело: за карточным столом дурака валять. Интересу на грош, а убытку... В прошлый раз семь рублѐв просадила...

– Семь рублѐв! Батюшка, разор-то какой! Барыня Катерина Дмитриевна, царство ей небесное, век бы вам не простила!

– То-то и оно... Да ежели бы еще порядочному человеку проиграл, а то ведь ротмистру Бугаевскому из жандармского корпуса. Срам.... Ну, ступай, найди Ермолая.

– Найти-то не хитро, а только.... может, лучше велеть Степке, чтобы запряг возок да и сvez бы письмо? Верхом-то он никак...

– Отчего же Степке? Он дурак, да и в Москве почти не бывал, улицу, какую следует, не сыщет...

– Оно так. И боязлив к тому же, в лесу ему за всяким деревом волки чуются... Тогда, может, я сам сvezу? Не столь уж далекий путь...

– Еще не легче! Ты, Федотыч, глянь на себя, из тебя песок, как из этой склянки... – Андрей Гаврилыч встряхивает в пальцах песочницу. – И сам же говорил, что поясница... Да отчего нельзя Ермолаю-то?

– Куда же ему, ежели он лежит в людской на лавке колодою, слов не вяжет, мычит только. Девки его рассолом отпаивают, да пока без проку. Вечор бражки нахлебался, раздобыл у баб...

– Новое дело! С чего это он? Вот как дать бы ему хорошего дѐру на конюшне...

– Дѐру – это завсегда полезное дело, батюшка, да только не в нынешнем разе. Известно ведь, что от любви нету никакого средства...

– Еще не легче! Это от какой такой любви?

– Да известное дело. Сохнет он по Марфушке, что в помощниках у Авдотьи, места не находит.

Андрей Гаврилыч с досадою ставит песочницу мимо гнезда на приборе.

– Сохнет он! Это что же за бестолковость такая!.. Разве нельзя сделать все, как у людей? Пришел бы, пал бы в ноги, как полагается: дозвожь, барин, взять за себя Марфушку, Или я не человек, не понимаю никакого сердечного страдания?

– Батюшка Андрей Гаврилыч! Да все знают, что добрее нашего графа нету во все округе! И кабы только в вас дело...

– Вот те новость! А в ком еще?

– Да в ней, в окаянной! В Марфушке! Не пойду, говорит, за рябого! А будут неволить, говорит, враз камень на шею и в омут! И ведь сделает, греха не побоится! Потому как не может забыть Митьку Кудрявого, казачка вашего, коего послали в Москву к живописцу Кондратьеву для обучения...

– погоди, Федотыч... – Андрей Гаврилыч прикладывает ладони к вискам. – У меня в голове от твоих рассказов так, будто сам бражки хлебнул... А Митька-то что?

– Да кто же его знает. Столичная жизнь – дело непонятное...

– Ну вас всех. Пускай сами разбираются... И письмо тоже – ну его, коли уж послать некого. Княгиня небось и не заметит, что меня там нету... А ты, Федотыч, вот что. С завтраком вели погодить, а принеси-ка мне наливочку, ту, что из смородины. Только так, чтобы Авдотья не видела. До того вредная баба, опять причитать начнет про мои хвори, будто я не секунд-майор в отставке, а дитя без понятия...

– Андрей Гаврилыч, я сей минут!

– То-то, что сей минут. Да гляди, чтобы сам ни-ни...

– Батюшка, да как можно!

– Знаю я твое «как можно»... Ну ладно, стаканчик, не больше.

– Благодарствую, батюшка Андрей Гаврилыч...

Федотыч пятится и пропадает надолго. Видать, непростое это дело – раздобыть графинчик из шкафа, что под постоянным приглядом бдительной Авдотьи..

Граф откидывается в кресле с зеленой стеганой обивкой. Хорошее утро за окнами, потрескивание дров в печи, уют привычной комнаты и предвкушение наливки приносят в душу спокойствие. В самом деле, чего извиняться перед княгиней? Проживет старуха и без его письма. И Ермолай протрезвеет и, глядишь, как-нибудь смягчит сердечные страдания. Не драть же, в самом деле, мужика, ежели ему и без того худо... А бестолковая Марфушка, глядишь, поумнеет и сама выберет суженого. Неволить граф никого не хочет. Хотя бы из уважения к Костиньке, который не раз убеждал отца, что люди всякого звания одинаково имеют право на Божью и человеческую милость...

Давняя, привычная уже тревога за Костиньку – это, пожалуй единственное, что мешает сейчас окончательному благодушию. Граф поднимает глаза на маленький акварельный портрет. Ну Митька, ну чертенок, до чего же наловчился орудовать красками да кисточками. Ведь ни у кого не учился, сам по себе. И совсем был малец, когда писал этот портрет, одних годов с Костинькой.

На акварели кареглазый круглолицый мальчонка с локонами и с тонкой шеей, точащей из высокого форменного воротника. Губы пухлые, а брови он строго свел, как и положено будущему флотоводцу. И похож, похож... Маменька его Екатерина Дмитриевна, когда была еще жива, не раз пускала слезу у портрета. Да и у самого графа порой щиплет в глазах...

Господь уберег Костиньку, год назад начальство отправило гардемарина Трубочинского в кругосветное плавание на шлюпе «Афродита». А не случись такого, оказался бы, чего доброго, мальчик среди тех, кто вышел в недавнем декабре на Сенатскую площадь. С его-то мечтаниями о всеобщей вольности!.. А где он теперь, в каких морях, у каких островов? Послед-

нее письмо было пять месяцев назад, из южной заморской страны Бразилии, из города Рио-де-Жанейро. С той поры сколько всего могло случиться...

«Господи, спаси и сохрани моего мальчика...» – Граф мелко крестится и с полминуты сидит, склеив мокрые ресницы.

Тревожно, да. Но ведь, с другой стороны, отрадно, что Костинька повидает белый свет. Глядишь, и ума – разума наберется, отбросит пустые мысли, кои толкают юных офицеров на безрассудства. Бог им судья, но мыслимое ли дело кидаться очертя голову в мятежи простив государя императора! Беззаконием добьешься ли общего благоденствия...

А Митька и вправду молодец. Не сбился бы только с пути в матушке-столице. Может, и будет прок из бывшего расторопного казачка. Известны уже случаи, как из крепостных душ получались знатные мастера. Ежели будет так, то можно и вольную, чего запирашь в неволе божий дар. Скажу: «Пиши маслом с меня большой портрет на память сыну и внукам, кои будут непременно, да и ступай с Богом. И Марфушку можешь забирать, если есть на то ее желание...» Хотя этак можно всей дворни лишиться! Ну да ладно, время покажет...

Хлопая туфлями о разболтанный паркет, появляется Федотыч. На подносе – графинчик, полный темнокрасной жидкостью до половины, и две граненые рюмки. Одна – со следами наливки.

– Я вижу, приложился уже...

– Да ведь сами позволили, батюшка...

– Ладно-ладно... Авдотья не видела?

– Упаси Господь...

– Давай сюда... Ну не гляди, не гляди так, налей и себе половинку.

– Благодарствую, батюшка Андрей Гаврилыч. С каждого глотка пояснице все легче...

От наливки теплеет в желудке, а потом и в груди.

– Федотыч, графинчик и рюмку оставь у меня, спрячу. Остальное унеси, потом придешь подкинешь дровишек...

– Слушаю батюшка Андрей Гаврилыч, дай Бог вам здоровья...

Федотыч уходит шаркая подошвами, а возвращается очень быстро и чуть ли не вприпрыжку.

– Андрей Гаврилыч, там верховой из Москвы. Говорит, от господина надворного советника Колоскова Петра Петровича!

– Кто таков? Не помню... Вели войти!

Человек появляется в дверях. Видно, что из дворни богатого хозяина. Одет добротнo, в ладно скроенный полушубок и теплые мягкие сапоги. Волчью шапку держит в руках, но не мнет. Кланяется. с достоинством.

– От его высокоблагородия Петра Петровича Колоскова спешное письмо вашему сиятельству.

«Что такое? Не было забот...»

– Давай сюда, братец...

Конверт большой. Плотный, не разорвешь сразу. В нем еще конверт, поменьше, и отдельный лист бумаги.

«Его сиятельству графу Трубчинскому.

Милостивый государь Андрей Гаврилович! Будучи вновь назначенным в Москву полномочным представителем Российско-Американской компании, я постоянно получаю из Петербурга служебные бумаги и прочую почту. В последней почте я нашел письмо, переправленное с Камчатки чрез Охотск, и адресованное Вашему сиятельству. Имея сведения, что Ваш сын Константин находится в плавании на шлюпе «Афродите», пришедшем осенью прошлого года в Петропавловский порт на Камчатке, я предположил, что письмо это

отправлено им. Понимая отцовское желание получить от сына скорейшие известия, почел я своим долгом незамедлительно отправить сей конверт Вашему сиятельству.

Выражаю надежду, что предназначенные Вам сообщения благополучны, и остаюсь Вашего сиятельства покорнейшим слугою —

*Российско-Американской компании
Московский полномочный представитель
надворный советник Колосков.»*

Это ясно. Теперь другой конверт, скорее! Эх ведь пальцы трясутся, будто у старца... Сложенные вчетверо листки, знакомый, такой родной почерк с озорными завитушками и длинными хвостами у ятей и твердых знаков...

«Милый батюшка! Третьего дня наш корабль «Афродита» прибыл в Петропавловскую гавань, и тут же на борт нам доставлена была долгожданная почта. Среди счастливцев был и я, получивший Ваши письма. Благодарю Создателя за то, что в момент писания были Вы в добром здравии, и спешу с ответным письмом, поскольку уже через четыре дня мы, выгрузив товары Компании, должны уйти до холодов в южные широты Великого океана для описания нескольких вновь открытых островов. Прежде всего хочу просить, батюшка, чтобы Вы за меня не тревожились. Здоровье мое отменное, плаванием я чрезвычайно доволен, товарищи самые добрые, а командир наш капитан-лейтенант Федор Федорович Безбородько о всех офицерах и служителях имеет отеческое попечение...»

Ну и слава Богу... Слава Богу!.. Письмо длинное, и не единожды будет подробно перечитываться долгими зимними вечерами. А на первый раз надобно пробежать его быстрым глазом, чтобы покрепче убедиться: все у Костиньки благополучно...

Посланец кашлянул у дверей.

— Осмелюсь спросить у вашего сиятельства, будет ли ответ для его высокоблагородия?

Петр Петрович приказывали мне возвратиться без промедления.

— Будет, будет непременно! Тебя как звать, голубчик?

— Филиппом кличут, ваше сиятельство.

— Федотыч, отведи Филиппа на кухню, пусть Авдотья накормит горячим. И чтобы чарочку... Передохни, голубчик, пока я пишу Петру Петровичу. И вот еще... возьми-ка это братец... — Андрей Гаврилыч дергает на себя скрипучий неподатливый ящик (колокольчик отзывается звоном), достает серебряный рубль с разлапистым орлом, чеканки памятного двенадцатого года, когда граф Трубочинский с верным ординарцем Федотычем ушел в ополчение.

Филипп берет монету с достоинством.

— Покорнейше благодарим, ваше сиятельство.

...Через час, когда послание тайному советнику Колоскову с душевной благодарностью за добрую весть написано, Филипп ускакал, а письмо Костиньки прочитано еще дважды, граф Андрей Гаврилыч с мягкой отрадой в душе (и с теплотой от еще одного стаканчика наливки) полулежит в кресле. Кроме отрады, есть в душе и не растаявшее до конца беспокойство. Ведь письмо-то написано в октябре, а нынче на дворе уже февраль. За четыре с лишним месяца могло случиться всякое. Однако для большой тревоги нет сейчас места. Следует быть благодарным судьбе за осеннее письмо. Господь милостив и надо надеяться, что и дальше Он будет хранить мальчика от всяких бед...

Федотыч уже дважды заходил в кабинет — будто бы приглядеть за печкой. И наконец он не выдерживает:

— А что, батюшка, никак весточка от Константина Андреича?

– От него, от него! – радостное возбуждение опять встряхивает Андрея Гаврилыча, прогоняет сонливость. – Пишет, что все у него хорошо, высочайшим повелением он и два других гардемарина произведены в мичманы, был получен указ в Петропавловске... И тебе кланяется, Федотыч.

– Значит, помнит старика...

– Как не помнить, ежели ты его еще во младенчестве на плечах таскал!.. Федотыч, вот что! Негоже сидеть просто так, когда сын получил офицерское звание! Иди к Авдотье и скажи, чтобы достала бутылку шампанского. И два хрустальных бокала! Да пусть не вздумает крик подымать, а то я ей...

Скоро бокалы оказываются на письменной доске скрипучего бюро. Пробка пистолетной пулею летит в угол, пена шипит, тонкое стекло наполняется пузырчатым янтарем.

– Федотыч, бери бокал!

– Батюшка, негоже мне господское-то вино пить, не по чину...

– Ладно тебе, «не по чину»! Первый раз, что ли? Забыл, как в четырнадцатом году, в Париже?

– Как забыть! Да тогда ведь за государя...

– А теперь за Костиньку! За мичмана Константина Андреича Трубочинского!

Федотыч берет хрусталь корявыми пальцами.

– Оно конечно. Дай ему Господь всяких радостей...

Граф стоя смотрит на акварельный портрет, потом по-гусарски опрокидывает в себя вино. Разом, до дна. Со стуком ставит бокал, а левой рукой делает взмах, словно хочет показать: мы все такие же, как в молодости! Взмах слишком широк. Рукав шлафрока летит над бюро и цепляет на приборе чернильницу. Чернильница катится на пол. Медная крышка отлетает к печке, а фаянс раскалывается, как ореховая скорлупа. Черная, окруженная частыми кляксами лужица блестит на паркетных плашках.

– Батюшка, вот беда-то!

– Что за беда! Если что-то бьется, это к счастью! – заявляет граф. И с размаха садится в кресло.

– Да ведь прибор-то еще вашего дядюшки Аполлона Евстафьевича, царство ему небесное...

– Дядюшке уже все равно. А для чернил ты сыщешь какую-нибудь склянку...

– Оно так, сыщу... Марфушку надо позвать, чтобы затерла, пока не высохло.

– Успеется. Ты пей давай. У нас еще вон сколько в бутылке...

...Написал я эту историю и теперь думаю: зачем? По законам литературы, по строгим правилам сюжета и композиции она совершенно не нужна. Никакого отношения к дальнейшим событиям повести не имеет. Сперва я хотел только объяснить, почему на приборе нет чернильницы, а все это вылилось в долгий рассказ. Почему? Может быть, потому, что рядом с прибором стоит бронзовая статуэтка мореплавателя Крузенштерна, лежат раковины с южных островов, а над головой колышутся от сквозняка паруса корабельной модели?

Или просто потому, что недавно я дал себе обещание писать, «как Бог на душу положит»? То есть вольно и безоглядно, все, что придет в голову. Говорят, что в мемуарах это позволено, а данная повесть – явно мемуарная. Воспоминания о давнем... Однако Андрей Гаврилыч Трубочинский к воспоминаниям отношения не имеет, я же его просто придумал... Может, вычеркнуть эти страницы? Но мне почему-то их жаль. Жаль расставаться с пожилым графом, со старым Федотычем, с уютным кабинетом, где потрескивает кафельная печка и висит акварельный портрет морского кадета Костиньки. Все, что сочинилось, я вижу, как наяву. И это помогает мне писать дальше. Уже про то, что было по правде.

2.

Однажды моя жена вернулась с вещевого рынка (иначе говоря, с «барахолки») и сказала:

– Я принесла тебе подарок. Смотри...

Она протянула мне на ладони маленькую чернильницу («чернилку», как говорили мы в давние школьные годы).

Большинство нынешних ребят про такие чернилки и не знает. А в середине двадцатого века они были у каждого школьника. Делались чернилки из пластмассы, из стекла, из фаянса. Снаружи – этикетки стаканчики ростом со спичечный коробок, а внутри у них стенки сужались воронкой. Чернил наливалось немного, так, чтобы горлышко воронки не погружалось в них. Если чернилку клали на бок или переворачивали, содержимое ее оказывалось за краями воронки и не выливалось наружу. Отсюда и название – «непроливашка». Оно употреблялось даже чаще, чем «чернилка».

Самыми солидными были фаянсовые непроливашки. Делали их еще в довоенные времена, но многие из них дожили до сорок пятого года, когда автор этой повести пошел в первый класс. Иногда на белых блестящих боках красовались цветные картинки – как на чайной посуде. Цветочки, утята, пионеры с горами, снежинки. А были и попроще: совсем без рисунков или с полосками по краю. Как раз такую и подарила мне жена – белую, с тонкими синими каемками у верхней кромки.

– У меня была в точности такая же!

– И у меня была похожая...

– А эту ты где откопала?

– Да у старичка, среди тех, что сидят у забора.

Вдоль забора барахолки всегда рассаживались продавцы всякой мелочи, раскладывали товар на кусках мешковины. У этих стариков и тетюшек можно было найти дверные петли и всякие инструменты, шурупы всех размеров и старые грампластинки, подсвечники и шка тулки из ракушек, старинные пятики и блюда от разбитых сервизов... Немудрено, что там оказалась и непроливашка.

Я взял ее в ладони, как птенчика.

– Нравится? – сказала Ирина.

– Еще бы! Будто снова в первый класс собрался...

– Спрячешь в ящик или поставишь на стол?

Для меня здесь не было вопроса.

– Вот сюда, на прибор!

Много лет письменный прибор «графа Трубчинского» стоял на моем столе без чернильницы. В пустое гнездо я ставил то пузырек с клеем, то какую-нибудь безделушку. Или складывал канцелярские скрепки и кнопки. И вот наконец старинная вещь обрела то, чего заслуживала. Снова – полный комплект!

Конечно, с точки зрения художественного вкуса несовместимость получилось дикая. Бронза в стиле рококо и ширпотребовская чернилка середины двадцатого века! Но я ощущал здесь полное внутреннее согласие. В своем понимании! Потому что и затейливый прибор, и простенькая непроливашка одинаково будили во мне воображение и память – о том, чего не было и что было...

Бывает, что я щелкаю ногтем по колокольчику (вдруг, покашливая и шаркая, войдет Федотыч?) потом беру и тихонько баюкаю непроливашку (старый сентиментальный дурень). «Подруга дней моих суровых...»

Правильнее сказать «подружка». Потому что малютка. А насчет суровых дней – все точно. Жизнь моя в первом и втором классах была отнюдь не розовой. Я уже немало писал про нее и до сих пор удивляюсь: сколько сюжетов кроется в двух годах школьного бытия семи- и восьмилетнего пацана. Хватило бы еще на несколько романов, причем в каждом – куча горестей и неприятностей. Кстати, с неприятности началось и мое знакомство с непроливашкой.

В разных повестях и рассказах я, рискуя надоесть читателям, уже писал, что в те годы жил в Тюмени, на деревянной улице Герцена, бывшей Ляминской. Отнюдь не центральной, но и не совсем окраинной. Зимой она утопала в сугробах, летом – то в пыли, то в бесшумной тополиной метели. За хлипкой дощатой стенкой нашей комнаты обитал сосед Пашка, он был старше меня на три года.

О Пашке я писал тоже многократно, выводя его под разными именами. Это был и Павлик (весьма романтизированный) в ранней лирической повести «Тень Каравеллы», и Лешка Шалимов в разных автобиографических циклах, и Пашка Шаклин в повести-дневнике «Однажды играли...» Последнее имя – самое близкое к настоящему, таким я и оставляю его здесь.

Пашка был всякий. Соседями мы были с самого моего рождения, и рассказывать о Пашке я могу «в самых разных ключах». И как о добром приятеле и защитнике; и как о вредном насмешнике, который награждал меня прозвищами и не брал играть в компанию своих одноклассников; и как о внимательном, даже ласковом собеседнике в зимние вечера, когда мы читали у настольной лампы потрепанные приключенческие книжки и вели разговоры; и как о жуликоватой личности, таскавшей у меня кедровые орехи и полученные мамой по каким-то «литерным» талонам карамельки; и как о щедром друге, который делился липким пайковым хлебом. И все будет правдой...

И в этой истории Пашка выступает в самых разных ролях. Для начала – именно он подарил мне белую с синими полосками непроливашку.

Случилось это в середине октября. Мы, первоклассники, в ту пору еще осваивали буквы и первые слова и писали карандашами. И наконец-то было обещано, что скоро нам разрешат, как полноправным школьникам, приобщиться к перьям и чернилам. («Но кто будет ставить кляксы, заставлю писать карандашом до Нового года», – пообещала Прасковья Ивановна; она всегда обещала что-нибудь *такое*.)

Дома я поделился радостной новостью с Пашкой. В наших отношениях в ту пору не было никаких конфликтов, и Пашка выслушал меня доброжелательно. Покивал с пониманием. А скоро постучал мне в стенку и крикнул:

– Зайди, что-то покажу!

Я пришел в его комнату, где пахло сваленными у печки березовыми дровами и масляными красками (старший Пашкин брат Володя в ту пору учился живописи). Пашкины рыжеватые глаза блестели доброжелательно.

– На! – он протянул мне на ладони белую чернилку.

– Это... мне?

– А кому еще? Кто завтра начинает бумагу чернилами марать?

– Насовсем? – прошептал я, начиная таять от благодарности. Благодарность была не только за подарок, но и за неожиданную Пашкину щедрость.

– Насовсем, насовсем... У меня еще одна есть, а у тебя ведь нету никакой. Таскать чернила в пузырьке – дохлое дело, а эта гляди какая: как ни крути, ни капли не выльется. Она же непроливашка.

Пашка положил чернилку на ладонь боком. Потом поставил вверх донышком, покачал. Показал мне ладонь. На ней – ни пятнышка.

– А чернила-то в ней есть? – недоверчиво сказал я.

– А как же! Столько, сколько надо! Гляди! – Пашка схватил со стола ручку-вставочку, сунул в чернилку перо, выдернул. На остром конце искрилась темная капля. – Ты, главное, не наливай чересчур, и все будет как в аптеке! – С этими словами он подбросил непроливашку и опять поймал на ладонь.

Я смотрел приоткрыв рот. Все это было похоже на фокус.

Может показаться странным: неужели до той поры я не видел непроливашек? Нет, видел, конечно, однако все как-то издалека, мельком. Старшие брат и сестра уже не были школьниками и учились в институте, в далеком городе Одессе. Дома у нас использовали для всякого писания массивную стеклянную чернильницу, которая называлась «папина». У Пашки и у других ребят из старших классов такие чернилки мне, конечно, попадались на глаза, но об их чудесных свойствах я до сей поры не догадывался.

Я принял подарок в растопыренные пальцы, но остатки недоверия все еще копошились у меня в душе. С чего это Пашка нынче такой добрый? И он, кажется, догадался о моих мыслях?

– У тебя же недавно был день рожденья. А я ничего не подарил. Ну, и теперь, значит, вот...

– Спасибо... – сказал я сипловато от смущения. И наконец полностью уверовал в Пашкино бескорыстие. А заодно и в полную *непроливаемость* чернилки. И бесстрашно затолкал ее в просторный задний карман на штанах.

Штаны эти были мамин подарок к моему недавнему семилетию. Мама сшила их из куска старой плащ-палатки. К сожалению, материи было мало, и штаны оказались длиною выше щиколоток, но, если заправить в резиновые сапожки или валенки, они выглядели полноценными брюками. К тому же, «военно-полевой» цвет придавал штанам дополнительную мужественность. А кроме того – карман! В такие карманы партизаны и разведчики, отправляясь на опасные дела, засовывали пистолеты и гранаты. Непроливашка тоже удобно устроилась в кармане... Потом уже, задним числом, вспоминалось мне, что Пашка проследил за моими действиями с некоторой опаской. Но в тот момент он о чернилке ничего больше не сказал. Он спешил:

– Меня Вовчик Сазонов ждет. У нас там... одно дело. А ты приходи ко мне вечером, в чапаевцев поиграем или в дурака...

И Пашка ушел по своим важным таинственным делам. Я остался один в нашем длинном одноэтажном доме. Мама была на службе в военкомате. Дядюшка, живший в маленькой проходной комнате, куда-то уехал на несколько дней. Квартиранты Вогуловы, обитавшие в другой проходной комнате, побольше, (дядя Степан, тетя Зоя и дочери их Аля и Римка) тоже были кто на работе, кто в школе. Тишина стояла в комнатах. Только на кухне падали из рукомойника в звонкий таз капли. Но это одиночество ничуть меня не угнетало. Оно мне даже нравилось – свобода! Можно скакать по дому, можно песни петь во весь голос, можно пускать в любой из комнат бумажные самолетики. Правда, потом, когда начнут синеть сумерки, станет неуютно (скорей бы кто-нибудь пришел!). Но до той поры было еще далеко. За окнами сверкал октябрьский день – холодный, но безоблачный. Можно сказать, лучезарный. И настроение было лучезарное. В основном, конечно, из-за Пашкиного подарка. Ну а кроме того, вообще все в жизни было хорошо. Солнце на дворе горело в желтых тополиных листьях. Мама обещала сегодня прийти пораньше. Я ее порадуя пятеркой, которую нынче получил на уроке чтения за стихи о счастливом детстве (в этот час оно было и правда счастливое).

От полноты чувств я попрыгал по очереди на левой и на правой ноге. Погонял по всем комнатам дырявый резиновый мяч. Повыгибался, как на турнике, на трубчатой спинке тети-Зоиной кровати. Скакнув на подоконник, пустил оттуда бумажный истребитель «Лавочкин».

Соскочил на пол и... ощутил сзади подозрительную влагу. В том месте, где до сей поры чувствовал лишь приятную твердость непроливашки.

Ой-ей... Я встал спиной к наклонному, висевшему в простенке зеркала. Вывернув шею, глянул на отражение. Задний карман украшало обширное, похожее на громадного раздавленного паука пятно. Ниже кармана тоже темнели несколько клякс...

Счастливое детство кончилось. Сверкающий за окнами день померк, словно присыпанный золой. Я вынул непроливашку (испачкав при этом пальцы), снял штаны и с горечью разглядел «паука» во всех деталях.

Сколько ни разглядывай, пятно не делалось меньше. Наоборот, оно словно вырастало и набирало дополнительную мрачность. Трусы тоже оказались пропитаны чернилами, но это ладно – они темно-синие, незаметно, да и все равно под штанами... А что под трусами? Я опять извернулся перед зеркалом, стыдливо глянул назад. Лиловое пятно на бледной коже, как и на кармане, напоминало паука, хотя и несколько иной формы. Ладно, оно-то как-нибудь отмоется, а что делать со штанами?

Я догадывался, что пятерка по чтению едва ли защитит меня от справедливого маминского негодования. И оказался прав.

Мама пришла в начале шестого, когда я уже истомился от ожидания неприятностей. Скрывать беду было бессмысленно. Я отчаянно шагнул навстречу неизбежному:

– Мама, вот... – и протянул ей заляпанные штаны. И на всякий случай заревел. И начал сбивчиво излагать печальную историю, бессовестно сваливая всю вину на Пашку. Впрочем, в тот момент я был уверен, что Пашка и в самом деле виноват. Конечно же, он, коварный злодей, нарочно подсунил мне чернилку! «На день рождения!» А потом будет ехидничать и всем рассказывать, какое место я украсил чернильной заплатой!

Мама, однако, сказала, что во всем виноват я сам. Павлик сделал подарок, потому что он добрый мальчик, и он никак не мог предусмотреть, что я такая бестолковая, пустоголовая и разгильдяйская личность. Непроливашки сохраняют внутри себя чернила при случайном опрокидывании, но вовсе не тогда, когда глупые первоклассники засовывают их в карманы и скачут, как обезьяны.

Однако слезы мои возымели действие и мамина словесная нахлобучка не была слишком суровой. Кроме того, как ни ругайся, а горю не поможешь.

– Чернила не отстирать никаким способом! – сокрушалась мама.

– Можно покрасить штаны, – всхлипнул я. – У тебя же есть черный порошок, ты им юбку красила.

– Пятно все равно будет выделяться. Кроме того, покрашенная материя сохнет не меньше двух дней. А в чем ты завтра в школу пойдешь?

– Завтра же воскресенье! Дома я могу посидеть вот так... – И я поплотнее запахнул старый дядюшкин ватник, в который предусмотрительно оделся перед маминым приходом.

Мама сказала, что черную краску давно отдала знакомой тете Лизе. Это во-первых. А во-вторых, она из-за меня скоро отправится на тот свет. Кроме того завтра она (и это в-третьих!) напишет о всех моих фокусах папе.

Ссылка на папу означала, что гроза явно идет на убыль.

Папа ушел на фронт, когда мне было три года. Помнил я его плохо. Правда, во время войны он дважды приезжал в кроткие, на пару дней, отпуска, однако вспоминалось мне это, словно кадры из фильма – о чем-то хорошем, но не настоящем... То есть был для меня папа лицом достаточно абстрактным и к тому же очень далеким – все еще служил в занятой нашими войсками Германии.

Но мама была вполне реальной и близкой. И оказалось, что мои неприятности не кончились. Энергичными движениями мама затолкала в печь дрова, разожгла их, а на плиту поставила большую кастрюлю с водой. Принесла из кухни жестяную лохань. Вначале я

смотрел на это без опаски: подумал, что мама решила все-таки попытаться отстирать штаны. Но скоро вода согрелась, была вылита в лохань, а я, вынутый из ватника, поставлен туда на четвереньки.

Рогожной мочалкой, пропитанной жидким кусачим мылом, мама принялась оттирать чернильное пятно на моей кормовой части. А когда я пытался пищать и дергаться, той же мочалкой давала мне воспитательного шлепка. Шлепки не были болезненными, но вся эта процедура уязвляла мою самолюбивую душу. А еще я отчаянно боялся, что вот-вот из школы, со второй смены, вернется моя младшая соседка, ехидная третьеклассница Римка. И увидит меня в таком непотребном состоянии! Правда, мама заперла нашу дверь ручкой от швабры, но что с того? В дощатой, оклеенной обоями стене Римка проковыряла с десятков незаметных дырок и с удовольствием шпионила за мной чуть не каждый день. Тихо и умело.

К счастью, Римка в тот вечер задержалась. Приближался Октябрьский праздник, Римку в числе прочих третьеклассников готовили к приему в пионеры, и у них был подготовительный сбор. Аля же вообще приходила поздно, у шестиклассников ого-го сколько уроков! К тому же она была умная, меня не обижала и Римку за ее вредности осуждала... Короче говоря, когда Римка, напевая «Хороша страна Болгария», объявилась за стенкой, я уже в чистых трусах и ватнике сердито сопел на кровати. Мама сказала, что пятно с меня смыла не полностью (чернила въедливые!), но это не большая беда. А что делать со штанами?..

И в этот миг меня осенило:

– Ма-а! У тебя в сундуке есть кусок старой гимнастерки! Она почти такая же зеленая, как штаны! Отпори старый карман, а новый пришей! И ничего не будет видно!

Мама покосилась на меня через плечо. Помолчала, обдумывая мой вариант. И, видимо, он показался ей удачным. По крайней мере, это было хоть какое-то решение проблемы. Правда, мама проворчала, что карман придется делать размером с тетрадку, потому что чернила заляпали на штанах половину зада.

– Да хоть с «Гулливера»! – Была у меня книга «Гулливер у лилипутов» большущего формата. Кстати, подарок Пашкиной мамы, тети Лены, к давнему новомуднему празднику.

Мама разложила на столе штаны и «гимнастерочный» лоскут, опустила пониже на раскрученном проводе лампочку, принялась отпаривать старый карман и выкраивать новый. Дело оказалось долгим. В доме тем временем собирались жильцы. За одной стенкой слышались голоса Али и Римки Вогуловых, за другой – Пашки и его матери. Тетя Лена за что-то ругала Пашку, он плаксиво оправдывался.

Наконец мама взяла штаны и вырезанный карман и пошла к Шаклиным. У нас не было швейной машинки, а у тети Лены была. Скоро через стену я услышал, как мама что-то весело говорит Пашкиной матери. Слов было не разобрать, но я понял: рассказывает историю с непроливашкой. Теперь, когда выход из беды был найден, мама про все это говорила со смехом. Смеялась и тетя Лена. Однако среди смеха она сделала перерыв, чтобы порядка ради наорать на сына и дать ему подзатыльник. О подзатыльнике я догадался по Пашкиному воплю:

– Я-то причем, если он такой придурок!

Эти слова я разобрал отчетливо.

Мама, видимо, принялась заступаться за Пашку, потом они с тетей Леной опять засмеялись.

А мне было не до смеха. Я понял, что мирной жизни у нас с Пашкой теперь не будет долго. И оказался прав. Назавтра в школе, на первой же перемене, Пашка обозвал меня нехорошим словом «сиксот», что означало «ябеда», только еще хуже. Потом он стал рассказывать своим друзьям Вовчику Сазонову и Вальке Сидорову, какой я дурак и как перемазал штаны и зад чернилами. Они, глядя на меня, гоготали и вертели у висков пальцами.

– Сам подсунул свою паршивую непроливашку да еще издевается! – закипел я слезами. Отошел к дверям своего класса и добавил: – Пашка, ж... вся в кашках!

Тут мне снова не повезло. Мою гневную реплику услышала Прасковья Ивановна (и откуда она взялась рядом!). Ухватила меня за плечо, отвела в угол у доски и сказала, что я буду здесь стоять весь следующий урок. А потом она расскажет маме, какие слова я кричу на переменах. И весь урок (мой любимый – чтение), я глотал слезы в углу и думал о мести вероломному Пашке Шаклину. Но никакую мсть я не придумал. Просто долгое время мы с Пашкой считали себя врагами. Я издали показывал ему язык, а он мне кулак. Впрочем, не тронул он меня ни разу. Велика ли заслуга дать пинка или тумака щуплому первокласснику, который тут же пустит слезу.

И непроливашку он не требовал назад. Я понимал, что надо бы гордо вернуть подарок, но было жаль. Несмотря на все неприятности, непроливашка мне нравилась. И я убедил себя, что Пашка не любил ее, и потому избавился, а у меня нашла она добрый приют. Как несчастный котенок или щенок, попавший от злого хозяина к хорошему.

Теперь я обращался с непроливашкой аккуратно, и она вела себя как подобает. Мама сшила для нее сатиновый мешочек со шнурком. Я носил чернилку в школу, привязав мешочек шнурком к ручке обшарпанного портфеля. Иногда мешочек цеплялся за сапог или за валенок, но чернила не выплеснулись ни разу.

А с Пашкой мы помирились только перед Новым годом. Он вдруг позвал меня и Римку на городскую площадь, где вокруг большущей елки были построены ледяные горки разной высоты. Когда оказалось, что у меня нет фанерки для катанья, Пашка тут же отдал мне свою, а себе раздобыл у приятелей.

И с того дня началась у нас опять полоса мирной и доброй жизни. Мы часто вместе катались на санках и лыжах (лыжи для меня тоже разыскал в своей кладовке Пашка). Вечерами сидели в Пашкиной комнате, у печки или лампы. Читали вслух и рассуждали про множество интересных вещей. Например, про путешествие Миклухи-Маклая на Новую Гвинею или устройство древнеримских баллист. Иногда Пашка помогал мне решать примеры и задачки. Вернее, решал их сам и диктовал ответы...

3.

Здесь литературные законы подсказывают мне, что надо бы не затягивать действие и продолжить историю с непроливашкой так, словно все случилось этой же зимой. Но сейчас, в воспоминаниях, не хочется мне уходить от суровой жизненной правды. Наша с Пашкой идиллия продолжалась до конца февраля. А потом в моей жизни все пошло кувырком.

Приехал из Германии отец.

Он приехал, и вместо радости начались семейные неурядицы. Я про них писал в других повестях и повторяться нет смысла. Кончилось тем, что отец уехал в Белоруссию к новой жене, а мы с мамой в конце марта перебрались из моего родного дома на другую квартиру. К человеку, который стал моим отчимом.

Началась непохожая на прежнюю жизнь. Правда, я ходил в ту же, что и раньше, школу, но дом был другой, соседи другие, ребята на дворе и на улице – тоже. Отчим оказался человеком про которого мой дядюшка, дядя Боря, говорил: «Да, не сахар...» А Пашка из прежнего доброго приятеля превратился в бывшего соседа.

Случалось, что мы встречались, когда я забежал в свой прежний дом, поведать дядюшку и старых соседей (в том числе и вредную Римку; даже по ней я теперь скучал). Иногда я у Пашки просил почитать какую-нибудь книгу и потом приносил обратно, однако все это было как-то мельком, случайно.

А непроливашка осталась для меня напоминанием о прежних добрых времена. Бывало даже, что, оказавшись один, я гладил белый блестящий бок и шептал ей ласковые слова...

Потом пришло лето. И жить стало легче. Во-первых, сами понимаете, каникулы. Во-вторых, в нашей прежней комнате, на улице Герцена, поселилась моя старшая сестра, которая вернулась с мужем из Одессы. Теперь я чаще обитал у нее, чем у мамы с отчимом. Здесь было все родное, привычное – и двор со старым тополем, и соседи, и друзья-приятели и даже недруги.

Только с Пашкой мы виделись редко. Сперва он уехал к своему дяде в Ишим, потом в лагерь. А когда вернулся, целыми днями пропадал со своими друзьями на реке, куда меня, конечно, не отпускали.

В сентябре я пошел во второй класс и продолжал жить у сестры, но с Пашкой мы виделись по-прежнему редко. Второклассники учились во вторую смену, а пятиклассники в первую. К тому же Пашка ходил теперь не в нашу начальную школу, а в десятилетку с номером двадцать пять. Иногда по вечерам я заглядывал к Шаклиными в гости, но чувствовал, что Пашке не до меня. Про мой день рождения в том году он не вспомнил. И я очередной раз грустно погладил непроливашку: «Хорошо хоть, что ты у меня есть...»

А однажды я чуть ее не лишился. По собственной неосторожности.

Дело в том, что в ту пору я уже отлично знал, как обходиться с непроливашкой. *Что* можно с ней делать, а чего не следует. Можно было, например, крутить ее над головой, взявшись за шнурок мешочка. Чернил при этом не проливалось ни капельки. Так я и крутил однажды на перемене, а шнурок вдруг вырвался из пальцев. Чернилка в мешочке взмыла над партами и понеслась через класс. И брякнулась о доску. Нет, она не разбилась. Но, как всегда, в самую ненужную минуту, в классе оказалась Прасковья Ивановна, и непроливашка стукнула в метре от ее головы. Ну и... не трудно догадаться, что было дальше. Самое скверное, что Прасковья Ивановна отобрала чернилку и сказала, что отдаст ее только маме, когда та придет в школу для объяснений.

Глотая слезы, я побрел из школы.

Мама для объяснений не пошла. Ей не следовало волноваться, она была «на шестом месяце». Пошла старшая сестра. И это ничуть не облегчило мою участь. Сестрица по натуре своей была педагогом (а потом стала им и по профессии) и после разговора с учительницей подвергла меня нудной проработке. Мне была предсказана судьба воспитанника детской исправительной колонии. Были помянуты все мои прежние грехи, в частности ужасный случай в начале учебного года, когда я сбежал с уроков и полдня болтался по городу, опасливо наслаждаясь неведомой ранее «преступной» свободой. А кроме того – двойки по арифметике, мятые тетради, нарисованные в задачнике самолетика, дерзкие слова, сказанные школьной уборщице тете Нюре и многое другое...

Но самого плохого все же не случилось, непроливашку у меня не отняли насовсем. Прасковья Ивановна вручила ее сестре, а та вернула мне. Я принял чернилку с равнодушным видом, чтобы сестра не догадалась о моей привязанности к этой фаянсовой вещице и не сделала ее дополнительным орудием воспитания.

Закончив проработку, сестра стала собираться на ночное дежурство в контору, где служила счетоводом. Муж ее был в командировке, и мне предстояло ночевать одному. Это меня не пугало. Рядом, за стенкой, соседи, в окошко смотрит знакомая добродушная луна, ободряюще бормочет радио. К тому же, можно спать, не выключив лампочку. А перед сном никто не запретит сидеть хоть до полуночи и перечитывать книжку про Гулливера или Буратино. Правда, сперва надо решить примеры по арифметике на завтра – таково было строжайшее предписание сестрицы перед уходом. Утром придет, спросит...

Я расстелил на столе газету, выложил из портфеля мятую тетрадь и потрепанный задачник (с самолетиками). Привычно затосковал. Какой изверг рода человеческого придумал это

мучительное и никому не нужное дело: складывать, вычитать, умножать и делить громоздкие непослушные числа?

Из мешочка я вытащил и утвердил посреди стола непроливашку. Погладил ее мизинцем. И вдруг сразу, без всяких усилий с моей стороны в голове запрыгали стихи:

Раньше ты жила у Пашки,
Но теперь уж не его.
Ты – моя непроливашка,
Много как в тебе всего.

Сперва эти строчки сочинились, а потом уже я удивился. Какие они ловко сложенные и правильные. Главное – правильные. Ведь и правда, в непроливашке *много всего*! Макаешь в нее перо и вытаскиваешь на нем... все, что хочешь! Буквы, цифры, целые слова и предложения. А еще лучше – рисунки. Можно корабль с парусами, можно самолет или танк, можно рыцаря на коне. А можно и эти самые стихи. Конечно, писать их в тетрадке по арифметике – это новые неприятности на свою голову. Но вот почти чистая промокашка...

Я на чистой промокашке
Где-нибудь часам к шести
О своей непроливашке
Сочиню хороший стих...

Да, нынче я был, прямо скажем, в поэтическом ударе. Кстати, ходики в самом деле показывали без пяти шесть, так что рифмы ничуть не грешили против правды жизни... Только промокашка плохо годилась для письма, перо царапало рыхлую бумагу. Ну ладно, я и так запомню. А с примерами-то что делать? Целых два столбика!.. Может пойти за помощью к сестрам Вогуловым? Но фиг от них дождешься чего хорошего. Римка, может, и помогла бы (несмотря на свою вредность), будь она одна. Но Алевтина тоже дома. Эта вся такая правильная семиклассница-отличница обязательно станет занудно объяснять, что нечестно пользоваться подсказками, надо решать самому. Конечно, я спрошу:

«Зачем?»

А она:

«Чтобы научиться считать. Это умение необходимо каждому.»

Конечно, я скажу (это уже не первый раз), что собираюсь стать не бухгалтером, а моряком. Алька же начнет учительском тоном объяснять, что морякам арифметика тоже необходима. Хоть и отличница, а дура. Каждому нормальному человеку ясно, что морской капитан – это не кассир и не продавец. Он должен знать географию, чтобы не приплыть вместо Америки в Новую Гвинею, и уметь отдавать правильные команды. Но доказывать это девчонкам бесполезно...

В другое время можно было бы сунуться к Пашке, но сегодня – нельзя. Потому что мы опять поругались, в прошлое воскресенье. В нашем дворе была ледяная горка (ребята сами построили), и я попросил у Пашки его большую фанеру для катания, чтобы съехать разок по льду с полным комфортом. Но Пашка не дал. Оглянувшись на приятелей Вовчика и Вальку, он сказал, что я неплохо могу ездить просто так, на собственном зад, потому что он у меня намыленный еще с прошлой осени.

Вот ведь скотина какая! И чего его дернуло вспоминать такую давнюю историю? Я-то думал, что она давно всеми позабыта! Наверно, Пашка решил повеселить друзей за мой счет. Они, конечно, захохотали. Понимают, что я в драку не полезу.

Я отошел к крыльцу и оттуда сказал Пашке, что пусть он страдает за собственный зад, недавно обработанный алюминиевой поварешкой. Дело в том, что тетя Лена накануне сгоряча отлупила ненаглядного сына этим кухонным инструментом. Соседка Таисия Тимофеевна донесла ей, что Пашка на прикрученных к валенкам коньках катается по обледенелой дороге за проходящими грузовиками. В ту пору у многих пацанов это было любимое развлечение. Специальным длинным крючком они цеплялись за кормовой борт полуторки или ЗИСа и мчались на своих «снегурках» по твердой накатанной колее.

Бывало, что такая забава кончалась бедой, если сзади оказывалась еще одна машина. И понятно, что взрослые с такими «крючочными» играми боролись всеми силами. Были и приводы в детскую комнату, и сниженные оценки за поведение и «домашние» родительские меры.

Когда Пашка, спрятав под крыльцом крючок и стуча коньками по половицам, появился с мороза на общей кухне, тетя Лена схватила первое, что попало на глаза – большую поварешку на тонкой гибкой ручке. Взяла Пашку за шиворот и... Я оказался свидетелем этой процедуры и в том момент весьма сочувствовал Пашке. Длинная обледенелая сзади телогрейка была, конечно, непробиваема, но все же Пашка ревел – с перепугу и от унижения.

Однако сейчас, после вероломных Пашкиных насмешек, всякое сочувствие к нему у меня пропало, и я отчетливо сказал с крыльца:

Пашка – жирная говёшка,
Не забудь про поварешку!

После этого я укрылся в своей комнате и с той поры старался не встречаться с Пашкой ни на дворе, ни в доме.

Так что решать примеры мне пришлось самому. Я делал это уныло и старательно. Потому что, если наляпаешь ошибок, сестрица заставит все переписывать. «Иначе Прасковья Ивановна все зачеркнет да еще скажет: как не стыдно получать двойку в *такой* день!»

4.

Таким днем было двадцать первое января – скорбная дата кончины Владимира Ильича Ленина. Власти, видимо, считали: весь народ настолько угнетен печалью, что трудиться ему в это время тяжело, и траурный день был объявлен нерабочим. Правда, отмечался он не двадцать первого, а двадцать второго – совместно с памятью о Кровавом воскресенье девятьсот пятого года, которое по новому стилю выпадало как раз на это число. А двадцать первого в школах проводились траурные линейки и сборы. Многие пионеры приходили в тот день в галстуках, обшитых черной каемкой – это не было обязательным, но весьма поощрялось. (Пашка свой галстук, конечно, не обшивал, был он лентяй, а Римка и Аля вечером двадцатого долго возились с ленточками из черного сатина; мне же, восьмилетней «беспартийной» личности, красного галстука еще не полагалось).

Перед уроками второй смены второклассников и третьеклассников построили в коридоре и директор Нина Ивановна сказала короткую и печальную речь. Мы все, соответственно обстановке, стояли тихо и с постными лицами. Хотя, по правде говоря, едва ли кто-то испытывал истинную скорбь. Владимир Ильич был для нас чем-то вроде легенды или персонажа из кино. А мысли о завтрашнем выходном, когда можно будет всласть покататься на санках и лыжах, каждому грели душу. В самом деле! Ведь этот неучебный день – единственное светлое пятно в серой тягомотине школьных недель. Зимние каникулы кончились совсем недавно, до следующих, весенних, два бесконечных месяца, а тут хоть какой-то просвет. Этакая лишняя отдушина, кроме воскресных дней.

Но «отдушина» – только завтра, а сегодня, двадцать первого, надо было еще отсидеть четыре урока. Причем по полной программе. На прошлой неделе жилось гораздо легче – в школе кончились дрова, холод в классах стоял такой, что однажды в моей непроливашке застыли чернила. Ни писать упражнения, ни решать задачки в тетрадях было невозможно. Сидели мы в пальто и шарфах. Прасковья Ивановна главным образом читала нам книжки, при чем у ее рта клубился парок. И случалось, что отпускали нас с уроков пораньше. Но три дня назад эта «лафа» кончилась. От печек уютно пахло горячей берестой, пальцы перестали мерзнуть, и учеба потекла с привычной скукотой.

Однако в тот день, двадцать первого января, холод снова начал брать свое. Чернила, правда не застывали, писать пришлось сколько полагается, но на третьем уроке, на чтении, изо ртов опять пошел парок и Прасковья Ивановна разрешила нам натянуть свои пальтишки и телогрейки. А четвертый урок был совсем зябким. Впрочем, казалось, что так оно и полагается в этот скорбный день. Словно в стихах про умершего вождя: «Как будто он унес с собою частицу нашего тепла...»

Ладно уж, отсидим как-нибудь. Тем более, что не письмо, не арифметика и не чтение даже, а пение. Когда поешь, становится немного теплее. Особенно, если песня по-кавалерийски храбрая, например, «Красный маршал Ворошилов, посмотри на казацьи богатырские полки!..» или революционная – «Смело, товарищи, в ногу...» Но в конце концов пришлось петь и ту, которую мы специально разучивали к Ленинскому дню. Суровую и печальную. На меня эта песня нагоняла погребальную тоску.

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил.
В борьбе за рабочее дело
Ты голову честно сложил..

За узкими высокими окнами нашей старинной школы стоял синий мрак – в январе темнеет с четырех часов, а сейчас был уже шестой. От остывшей кафельной печи несло холодом, как от айсберга, о который разбился громадный пароход «Титаник» (мы с Пашкой читали про него, когда жили в мире). Лампочки горели жидким желтым светом, а одна вообще еле светила красной нитью-подковкой и тихо жужжала. Слабые отражения лампочек блестели на моей белой непроливашке. Конечно, они вовсе не грели, непроливашка зябла. Я взял ее в ладони. Она была как ледышка. В моих припухших от ревматизма пальцах сразу толкнулась тупая боль. Но я не выпустил непроливашку, и она понемногу делалась теплее...

Пожилая, утомленная всякими заботами Прасковья Ивановна, куталась в серую шаль и, глядя поверх голов, равнодушно помахивала ладонью, дирижировала. Ей, как и нам, хотелось домой. И конечно же, не очень-то заботил ее уровень песенного исполнения. Поэтому наш второй «А» выл и скулил тягучие строки на разные голоса. Однако в конце песни Прасковья Ивановна встряхнулась. Похлопала ладонью о ладонь и сказала, что пели мы не очень старательно, поэтому придется повторить. Видимо, до конца урока еще оставалось время, а отпускать учеников раньше срока нынче было не велено.

Мы завывли снова:

Замучен тяжелой неволей...

Тягучесть строк была невыносима. Особенно вот этой: «В борьбе за рабочее дело...» Слово «дело» тянулось так долго, что звук «е» рассыпался в нем как бы на отдельные кубики, которые друг за дружкой прыгали вниз по ступенькам:

В борьбе за рабочее де
е
е
е
ело...

Мне эти буквы представились вдруг живыми, с тонкими ручками-ножками. Они деловито скакали по клеткам-лесенкам, спрятанным в законном вечернем сумраке. Потом одна промахнулась мимо ступеньки, с перепуга превратилась из маленькой «е» в большую «Е» и устроилась на доске Мавзолея, в слове «ЛЕНИН». Мавзолеем обступали острые заснеженные ели. На верху Мавзолея красновато светились продолговатые окошки. Было уютно и совсем не страшно. И я начал вспоминать рассказ отчима, как Владимир Ильич проводит в Мавзолее зимние ночи...

Мой отчим в тридцатых и сороковых годах дважды побывал в тюрьмах и лагерях (конечно, по обвинению в шпионаже), чудом избежал расстрела и в сорок четвертом оказался на свободе благодаря какой-то крохотной бериевской амнистии. Повезло одному на много тысяч. Ему запретили жить в Москве, он осел в Тюмени... Обычно о лагерной жизни он помалкивал, но, выкушав четвертинку и размякнув, иногда начинал откровенничать с мамой и со мной. (Мама каждый раз делала страшные глаза и предупреждала меня, чтобы «никому ни гугу».) Поэтому я был посвящен в гулаговские тайны и методы НКВД задолго до хрущевского доклада... А бывало, что после той же домашней четвертинки, отчим начинал рассказывать анекдоты о вождях или такие вот «новеллы».

«...Зябко ему там и скучно. Ну, если лето, день, посетители, тогда еще ничего, а зимой, ночью... бр-р-р... Вот и завел там Владимир Ильич железную печурку. Вроде той, что была у него в шалаше, в Разливе. Как завел, дело тайное, конспиративное. Наверно, бывшие друзья-подпольщики помогли, которых нынешний вождь и учитель еще не успел тогда прижать к ногтю...

Ну и вот, как только куранты пробьют полночь, Ильич, ежась, подымается, откидывает стеклянную крышку, сползает с возвышения и лезет на корточках под саркофаг. Стараясь не греметь железом, выволакивает печурку. Налаживает длинную трубу. Выводит ее конец в тайный дымоход, чтобы на площади никто не заметил дыма, а то такой тарарам подымут: «Диверсия! Вредительство! Тревога!» Потом сует в дверцу лучину и старую газету «Искра», для растопки. Хлопает себя по карманам: где спички?

А спичек нет, кончились...

Владимир Ильич, проклиная свою судьбу и мировой империализм, на цыпочках идет к выходу. Тихонько отодвигает дверь. Просовывает голову.

– Товаг’ищ... Эй, товаг’ищ кг’асноаг’меец...

Оба часовых в буденовках перепуганно вытягиваются (хотя и до того стояли по струнке). Тот, что поближе, говорит одними губами:

– Опять... Куда вы, Владимир Ильич? Знаете же, что не положено...

– Мне только ког’обок. На минуточку. Сг’азу отдам, честное коминтер’овское...

– Ну, не положено же, товарищ предсовнаркома. Комендант узнает, меня под трибунал!

– Да как он узнает, этот засг’анец? Кто ему скажет?

– Да вот он и скажет, Владимир Ильич! – часовой подбородком показывает на своего напарника. – Нам приказано все друг о друге докладывать командиру.

– А мы его свяжем кг’уговой пог’укой! Он мне тоже даст ког’обок. И тогда уж не пикнет... Ну, что ты кг’утшься, как Иудушка Тг’оцкий на пег’ине с меньшевистскими клопами! Давай, давай... Оба давайте спички! А то я устг’ою внутг’и такой пог’ом, что всем в Кг’емле станет тошно! Мне тег’ять нечего!

Часовым куда деваться-то? Каждый сует Ильичу спичечный коробок. Потом снова застывают, задрав подбородки. Владимир Ильич ловко разжигает печурку, садится у открытой дверцы на корточки, потирает ладони. Хорошо...

Когда дровишки прогорают, он выкатывает из укромного уголка несколько картофелин, толкает их в угли. Еще из одного тайничка достает заветную фляжку, делает глоточек, другой. Заедает крепкий напиток печеной картошечкой. Совсем хорошо. Можно снова на покой. Владимир Ильич гасит и прячет печку, дует на обожженные ладони и укладывается в саркофаг. До следующей ночи. И с удовольствием вспоминает, что во фляжке остался еще кое-какой запасец. «Пг'екг'асно...»

А часовые на морозе украдкой переминаются и боятся. Ведь Владимир Ильич забыл вернуть им спички. А ну как найдут у него в карманах, да догадаются откуда?.. А впрочем, может быть, все и обойдется...

Мама всегда слушала такую импровизацию отчима с перепуганным лицом, с оглядкой на двери и тонкие стены. А я – с удовольствием. Правда, мне было немного жаль Владимира Ильича, но в то же время я радовался, что хоть какое-то время он проводит в удовольствии и уюте.

В том, сорок седьмом, году я еще не знал, что почти всю войну Владимир Ильич пролежал не в Москве, а в нашем далеком от фронтов городе, всего в нескольких кварталах от моего родного дома. В здании сельхозтехникума на улице Республики, рядом с небольшим садом «Спартак».

Надо сказать, здание было подходящее, одно из самых красивых в Тюмени, похожее на небольшой двухэтажный дворец. Его построили в семидесятых годах девятнадцатого века для городского реального училища. Здесь училось немало будущих знаменитостей. Например, революционер Лев Красин, писатель Михаил Пришвин, а потом (уже не в училище, а в техникуме) – разведчик Николай Кузнецов. Но, конечно, самой знаменитой личностью из когда-либо обитавших в этих стенах – хотя уже и после кончины – был Владимир Ильич.

В окружении величайшей тайны летом сорок первого года саркофаг с телом Ленина привезли в Тюмень, а назад, в столицу, отправили только в марте сорок пятого. Говорят, в техникуме он стоял в одной из аудиторий на втором этаже. Здесь висела та же торжественная тишина, что в Мавзолее, так же менялся караул, только все было окружено крепчайшими секретами.

Официально эти секреты были раскрыты только лет через сорок после войны. Но... абсолютных тайн не бывает. О том, что во время войны Ленин «гостил» у нас, я знал от взрослых еще пятиклассником, кажется в сорок девятом году. А в середине пятидесятых наш преподаватель истории уже открыто рассказывал на уроке про эту деталь посмертной ленинской биографии.

Кстати, учителя были, видимо, первыми из тех «посторонних», кому стала известна эта замораживающая душу тайна. И немудрено. Ведь забальзамированного вождя сопровождала целая бригада ученых во главе со знаменитым профессором Б.И.Збарским – надо было постоянно следить за состоянием тела. Все они, сохраняя тайну и поддерживая свой статус «обыкновенных эвакуированных», стали преподавать в разных школах и училищах. Профессор Збарский познакомился с учителем математики Петром Юлиановичем Хайновским. И не просто познакомился, а спас его от большой беды. Осенью то ли сорок первого, то ли сорок второго года Петр Юлианович с бригадой школьников поехал в колхоз на уборку картофеля. Там ему пришлось однажды заводить старый, всегда барахливший трактор (кажется, колесный ХТЗ). Несчастный, изможденный голодом учитель-интеллигент, поминая несвоиственными ему словами «издохший утиль», яростно дергал железную ручку, но трактор был холоден и мертв. Петр Юлианович остановился на секунду, чтобы перевести дух. И тогда

подлая машина вдруг чихнула, и ручка крутанулась сама собой. Железным концом она врезала учителю по скуле. Очнулся он в больнице.

Рана долго не заживала, один глаз был сильно поврежден, врачи говорили, что его следует удалить, чтобы не воспалился и другой. Петр Юлианович уже смирился с судьбой, но вмешался в это дело Збарский. То ли он сам взялся за лечение, то ли привлек эвакуированных в Тюмень столичных окулистов, но так или иначе глаз Петру Юлиановичу спасли. Учитель Хайновский и профессор Збарский стали друзьями. Тогда-то профессор и приоткрыл другу великую тайну.

Я не уверен, что в точности передаю эту историю. Но стараюсь рассказать ее так, как слышал от Петра Юлиановича. Он последние годы своей жизни – уже совсем старенький, седой – провел в Свердловске, у сына. Я иногда навещал его. Мы собирались у стола, сын Валентин приносил из кухни пироги, которые готовил великолепно, его жена Лора разливала чай. Валентин, Лора и я были выпускниками одной тюменской школы – номер двадцать пять – и почти одногодками. А Петр Юлианович в пятидесятых годах был там учителем и завучем. Нам хватало тем для воспоминаний. Впрочем, Петр Юлианович касался в своих рассказах и тех времен, когда нас не было на свете или были мы дошколятами.

Во время одного из таких застолий он и рассказал о профессоре Збарском.

В подтверждение своего рассказа Петр Юлианович дал мне почитать тонкую, напечатанную на газетной бумаге брошюрку Б.И.Збарского. В ней рассказывалось, как ученые бальзамировали тело Ленина. Название книжицы я не запомнил. Помню только, что издана она была то ли в начале сорок первого года, то ли уже во время войны. На титульном листе был профессорский автограф: «Дорогому Петру Ульяновичу Хайновскому на память о нашей совместной работе в школе. Тюмень, 8/V 1944 г. Б.Збарский». Причем отчество – не «Юлиановичу», а именно «Ульяновичу». Так в обиходе именовали его и школьники, и взрослые. Видимо, потому, что польское имя «Юлиан» было непонятно для сибирских жителей.

Помню, как в школьных коридорах, во время шума и слишком резвых развлечений, не раз слышались опасливые вскрики: «Пацаны, атас, Петр Ульяныч идет!» Нельзя сказать, что он был слишком строг, но он был завуч, а завучей полагается бояться.

Кстати, с нашим семейством учитель Хайновский был знаком еще до войны. С отцом они работали в одной школе и питали друг к другу самые приятельские чувства (может быть, оттого, что в обоих – польская кровь). Он учил моих старших брата и сестру. Учил и меня – вплоть до десятого класса. Память о старых знакомствах не мешала Петру Юлиановичу проявлять строгость и объективность. На выпускном устном экзамене по математике он вкалал мне тройку. Правда, перед этим спросил, действительно ли я собираюсь в гуманитарный вуз, где математика не нужна. Я не затаил никакой обиды, потому что в алгебре и тригонометрии был полный профан. Спасибо, что хоть тройку-то натянул...

При наших «взрослых» встречах Петр Юлианович открывался мне по-новому. Оказывается, в молодые и в «не очень старые» годы был он любителем веселых компаний и преферанса, не отказывался от рюмочки и вообще не чурался радостей жизни. Впрочем, рассказывал он не только о радостях. Говорил и про те времена, когда каждую ночь люди спали в полглаза, боясь шума мотора за окнами и стука в дверь. За каждым могли «прийти». Среди учителей проводились собрания, где клеймили «врагов народа, разоблачить которых вовремя мы не сумели из-за отсутствия революционной бдительности». Царила на таких собраниях громкоголосая и грузная школьная уборщица – баба безграмотная, но «благодаря своему партийному стажу обладающая безошибочным классовым чутьем».

Кстати, газетные строки и радиовопли о необходимости «искоренять ротозейство и повышать бдительность» я помню и сам. Они вдруг зазвучали вновь в конце пятидесят второго года, когда я учился в седьмом классе (помню, как почернели у отчима и мамы лица).

Это «наши славные органы» по указанию «отца всех народов» начали раскрутку дела «убийц в белых халатах». Многие знаменитые медики без всякой вины попали за решетку. Оказался в ту пору среди арестованных и профессор Збарский, не спасли его заслуги в бальзамировании ленинского тела.

К счастью, на небесах, кажется, кончилось терпение. Видимо, Господь рассудил, что, хотя людям и дана свободная воля, но должен же быть предел. И прекратил земное существование «великого продолжателя дела Ленина», нарушив тем традицию кавказского долголетия. «Злодеи, шпионы и убийцы» вскоре оказались на свободе, а Иосиф Виссарионович занял место рядом со своим учителем. Правда не надолго. Но пока он обитал в Мавзолее, появилось немало анекдотов, как два вождя, лежа рядом, выясняют отношения. Едва ли они мирно топили печурку и делили на двоих вынутую из загорелого четвертинку...

Петр Юлианович Хайновский умер несколько лет назад. В Екатеринбурге у него было не так уж много знакомых, и похороны получились скромные, тихие. Другое дело, если бы это случилось в Тюмени – в городе, которому Петр Юлианович отдал всю свою учительскую жизнь. Так я и сказал в последнем слове, при прощании в крематории... Урну увезли в Тюмень, и там действительно собралось на траурный митинг множество людей. Петра Юлиановича в Тюмени с благодарностью вспоминают до сих пор.

В сквере на улице Республики, почти напротив здания сельхозтехникума (сейчас – Сельскохозяйственная академия) стоит бронзовый памятник выпускникам тюменских школ, ушедшим на фронт в годы войны с фашистами. Щуплый парнишка в пилотке и тоненькая девушка замерли друг против друга в последнем прощании... Это памятник не только юным солдатам, но и старому учителю, ибо поставлен он по его инициативе и после его великих хлопот...

5.

Но я далеко ушел в своих воспоминаниях от январского вечера сорок седьмого года, когда второклассники в холодной школе пели похоронную песню... Впрочем, я, оказывается, уже не пел. Припомнивши рассказ отца о ночном времяпровождении Владимира Ильича, я тихонько улыбался. Прасковья Ивановна сделала перерыв между куплетами и сурово поинтересовалась:

– Владислав! Почему ты ухмыляешься, когда мы исполняем *такую* песню? Что в ней смешного? – Она всех называла полным именем, если сердилась.

Но я был не лыком шит и сразу нашел оправдание:

– Ничего я не ухмыляюсь! Просто губы перекашиваются от холода! – И в доказательство выдохнул весьма заметное облачко пара.

– Скоро пойдем домой, – примирительно пообещала Прасковья Ивановна.

Домой – это замечательно! Там уже наверняка топится печка. И готовится ужин. Приду – и сразу к чугунной дверце, за которой потрескивают дрова.

Я, не меньше, чем Владимир Ильич, любил посидеть у открытой печной дверцы, пошевеливая в углях обугленную картофелину. А еще больше любил поджаривать на горячей плите тонкие картофельные ломтики. Сейчас про них сказали бы «чипсы», но тогда такого слова не знали. Да и не совсем это были чипсы, вкус другой. Внутри ломтика, между двумя корочками, покрытыми коричневыми пузырьками, сохранялся тонюсенький слой горячей мякоти. А снаружи эти картофельные кружочки надо посолить. Кстати, когда крупинки соли попадают на раскаленную плиту, они стреляют, как бумажные пистоны...

Предвкушая эти радости жизни, я бодро топал подшитыми валенками по спрессованному снегу тротуара. По улице Ленина, мимо старинной Спасской церкви, где в ту пору была областная библиотека. Морозец покусывал щеки, но не сильно, играючи. Уже совсем

стемнело, но из сугробов у дороги торчали телеграфные столбы, а на них под кривыми эмалированными тарелками горели лампочки – уличные фонари того времени.

В свете такой лампочки я увидел на затоптанном снегу непонятную желтую деревяшку. Размером с мизинец. Поднял. Это была продолговатая печать – резиновый штампик от детской игры. Плоская резинка была густо пропитана красной мастикой. Я подышал на печатку, притиснул к ладони. На коже (вот чудо-то!) появился великолепный лев. Крохотный, но тем не менее могучий и благородный. Он замер на ходу и повернул ко мне пышногривую голову. Смотрел терпеливо и снисходительно.

Я пошевелил ладонью. Лев словно ожил. Душа моя возликовала. В находке чудилось что-то волшебное. На тыльной стороне ладони я оттиснул еще одного льва (получилось, будто красная татуировка). Потом отпечатал его на штукатурке недавно побеленной церкви-библиотеки. Булькая от радости, я свернул на улицу Дзержинского и вприпрыжку двинулся к дому.

Вообще-то можно было бы об этой находке не упоминать. На сюжет она не влияет (да и где он, сюжет-то?). Но, с другой стороны, вспоминая тот зимний вечер, я обязательно вспоминаю и красного льва. И радость от находки. Все же она, видимо, не зря случилась, если помнится более, чем полвека. Что-то в ней было. Может быть, намек на новые радости?

Итак, я прыгал на протоптанной вдоль заборов и домов снежной тропинке. По сугробам, в свете падавших из окон лучей, прыгала моя тень. А рядом с портфелем, привязанная к ручке, прыгала одетая в сатиновый мешочек непроливашка – тоже радовалась.

– Я отпечатаю на тебе льва, – пообещал я. – Будешь с картинкой.

Непроливашка запрыгала еще веселее.

Дома, однако, радости поубавились. Оказалось, что печка уже протоплена и жарить картофельные ломтики нынче не придется. Кроме того, сестра сказала, что должна уйти по делам к какой-то знакомой и вернется часам к девяти (а это значит – не раньше, чем к одиннадцати). Выходит, мне опять придется сидеть весь вечер одному.

– Нечего кукситься, – сказала сестрица. – Сделаешь домашнее задание по арифметике, и я к тому времени как раз вернусь.

– Ну, какое опять задание! – взвыл я. – Завтра же мы не учимся!

– Вот именно. Завтра будешь весь день свистать на улице, на лыжах да на санках, а к вечеру начнешь клевать носом и ничего толком не решишь. Уроки надо делать заранее... Макароны в кастрюле на плите, хлеб в шкафу, чайник на табуретке, завернут в ватник. Поужинай и садись решать. – Она была неколебима в своих педагогических требованиях.

Я поужинал. Но с домашним заданием не спешил. Занялся львом. Вынул из мешочка непроливашку, оттиснул красного льва на блестящем белом боку. Отпечатался он бледновато и не очень четко. Я сразу понял, что картинка не долго будет держаться на гладком фаянсе, ткань мешочка почти сразу сотрет ее по дороге в школу. Ну, что поделаешь, пусть хотя бы немного покрасуется...

Затем я оттиснул льва на задачнике, чтобы хоть слегка украсить эту ненавистную книжку. Но ведь и любимые книжки заслужили такое украшение! И я отпечатал африканского зверя сперва на «Приключениях Гулливера», а потом на «Пушкинском календаре» издания 1937 года. Этот календарь сохранился до нынешних дней. Красный лев, ничуть не постаревший, по-прежнему снисходительно смотрит на меня с титульного листа. И, наверно, как и раньше видит во мне смешного бестолкового второклассника, обрадованного неожиданной находкой.

Кстати, красная мастика на резиновом штампе не иссякала, сколько бы я ни отпечатывал льва – на полях старых газет, на обоях, на промокашках. Прямо волшебство какое-то!

Я наконец подумал: а не постучать ли в стенку Пашке и не похвастаться ли таким волшебством? Может быть, тогда помиримся! И едва появилась эта мысль, как Пашка постучал сам!

– Чё надо? – спросил я громко и насупленно, давая понять, что помню прежние обиды. И услышал:

– Славка, зайди ко мне! Помоги одно дело сделать!

Раз человек говорит «помоги», тут не до обид! Я заторопился. Опасений у меня не было. Как бы мы ни ссорились, Пашка никогда не опускался до такого коварства, чтобы заманить меня к себе для сведения счетов.

Я выскочил в полутемную кухню и дернул Пашкину дверь.

Пашка был один. Старший брат Володя, конечно, еще сидел на уроках в техникуме, а тетя Лена работала контролером в кинотеатре «Темп» и приходила домой только после начала последнего сеанса. В комнате пахло дымом. Пашка сидел перед печкой у раскрытой дверцы. Рыжеватая щетка волос на его макушке искрилась в отблесках пламени. Он оглянулся через плечо.

– Иди сюда...

Я подошел. Пашка держал обмотанный тряпкой железный прут. Конец прута уходил в печную дверцу, калился там.

– Крючок будешь делать? – понял я. Видимо, тетя Лена отыскала и отобрала старый Пашкин крюк-цеплялку, и теперь он готовил новое снаряжение, чтобы ездить за машинами. Известно, что такая вот толстая проволока легко гнется, когда ее разогреешь в огне.

Но Пашка сказал:

– На фиг мне крючок, если мать коньки отобрала... Прожигать буду...

– Чего прожигать? – заморгал я.

– Вот это... – Рядом с Пашкой стоял сосновый чурбак. Сверху к нему двумя кривыми гвоздями был прибит обрезок толстой доски, размером с тетрадку. – Я буду прокалывать доску, а ты держи бревно, чтобы не елозило. А то ствол выйдет кривой...

– А, наган делаешь!

В ту пору у многих мальчишек были деревянные пистолеты. Стреляли они с помощью резинки горохом или сухими ягодами. Вытесать из доски такое оружие было не так уж трудно (даже я справился бы при желании), а вот проделать в нем «дуло» – задача крайне сложная. Никаких дрелей и коловоротов у ребят, конечно, не водилось. Вот и приходилось прожигать ствол раскаленной толстой проволокой.

Я с готовностью уселся на пол и обхватил чурбак ногами и руками (а печатку со львом все сжимал в кулаке). Пашка вытянул железный прут из печи. Конец прута светился малиновым жаром. Пашка деловито нацелился этим концом на срез доски и точно вогнал его в древесину. Проволока вошла как в масло. В нос мне ударил едкий дым, вспухло сизое облако. Я зачихал, но чурбак не шевельнул. Нельзя его шевелить, иначе получится не дуло, а кривулина. Впрочем, дым, послушный печной тяге, тут же втянулся в открытую дверцу. А Пашка, налегая на прут, сказал:

– Покашляй и дыши почаще. Сейчас все пройдет.

Я послушно покашлял и подышал.

Прут дошел до середины обрезка и остыл. Пришлось разогревать его снова. И опять – горячий дым, щипанье в глазах. Но зато проволока наконец выскочила из другого торца обрезка.

– Ура, наша победа! – разом сказали мы с Пашкой.

Можно было передохнуть.

Пашка взял со стола вырезанный из картона пистолетный контур. Очень аккуратно наложил на доску, обвел карандашом. Оторвал обрезок от чурбака, пристроил на табурете.

Вытащил из угла за печкой ножовку. Ясно стало, что теперь начинается работа мастера, при которой моя помощь не нужна. Сразу стало грустно.

– Ну, чего... Тогда я пойду?

– Да куда ты! – вскинулся Пашка. – Подожди. Мне же... скучно тут одному-то.

– Сестра велела арифметику делать, – вздохнул я для порядка.

– Делай здесь. Принеси тетрадь, задачник и решай! А я подскажу, если что...

Неужели будет как раньше?!

Я быстро притащил все, что надо. В том числе и непроливашку. При этом, правда, неосторожно смазал с нее мизинцем львиный хвост, ну да ладно...

Печать со львом я завернул в промокашку и спрятал в карман.

На Пашкином столе стояла старинная уютная лампа с зеленым стеклянным абажуром. Я разложил под ней тетрадь и задачник, макнул в непроливашку перо... И дальше все пошло замечательно. Пашка скреб пилой по дереву, но время от времени оставлял работу, заглядывал мне через плечо и подсказывал ответы. Он и сам не очень силен был в арифметике, но все же знания и опыт пятиклассника не шли в сравнение с моими.

Где-то через полчаса примеры был «расщелканы», а у Пашки появился на свет еще не оструганный, не отделанный, но уже весьма впечатляющий «наган». (Следует сказать, что все самодельные пистолеты, независимо от размера и вида, мы называли наганами). Пашка дунул в ствол и глянул сквозь него на лампу.

Отделка заняла довольно много времени. Пашка остругивал кухонным ножом рукоятку и боковые стороны ствола, потом скреб их кусочком стекла. А мне он доверил выстругивать палочку-ударник с набалдашником на конце. Нельзя сказать, что я полностью справился с этой задачей, но все же посильную долю труда внес, и Пашка сказал «молодец». Затем он погонял палку-ударник, словно шомпол, по стволу. Оружие было почти готово.

Действовали эти пистолеты так. Ударник оттягивался на резинке и краем набалдашника зацеплялся за тыльный срез пистолета, над рукояткой. Потом следовало прицелиться и ногтем большого пальца надавить набалдашник снизу. Ударник срывался, бил в ствол по «пуле». Чем крепче резина, тем сильнее выстрел.

– А есть она, резина-то?

Пашка поскреб щетинистое темя.

– Щас поищем...

Он вытянул нижний ящик комода, где тетя Лена хранила всякое мелкое хозяйство: лоскутки, наперстки, мотки ниток, ножницы, веревки и бельевые прищепки.

Мы добросовестно перерыли весь ящик. Напрасно.

– Ну был же целый клубок резинки! – сокрушался Пашка. – Мама недавно мне в трусы продергивала. Куда спрятала?

– Может, взять от рогатки? – осторожно посоветовал я. Рогатка у Пашки была замечательная, с тугой красной резиной.

– Да рогатку она отобрала вместе с коньками...

Я в точности как Пашка поскреб темя. Стряхнул валенок, засучил штанину и стянул с ноги круглую подвязку, которая прихватывала над коленкой длинный штопанный чулок. Она была из узкой бельевой резинки. Чулок сразу противно обмяк и поехал вниз, но я сунул ногу в валенок.

Резинка оказалась в самый раз. Пашка сложил ее в двойное кольцо, надел на пистолет. Щелкнул ударником. Раз, второй. Потом протянул мне:

– На...

– А сколько раз можно щелкнуть? – спросил я, понимая, что отношение к чужому оружию требует деликатности.

– Да сколько хочешь. Это же твой наган.

Я замигал.

– Почему... мой?

– Ну... так, – хмыкнул Пашка. – Потому что подарок. Сделал и подарил... Нельзя, что ли?

Что его подвигло на такую щедрость? Может, виноватость из-за того, что недавно зря обидел меня? Или просто захотел порадоваться м о е й радостью? Ведь бывает, что подарить кому-то хорошую вещь не менее приятно, чем иметь самому... Или просто потому, что был он вот такой Пашка – то насмешливый и вредный, то добрый и даже ласковый. Конечно! Он не раз показывал свою доброту и раньше. Например, когда подарил непроливашку! Ведь не хотел он, чтобы я перемазался чернилами, подарил от души! А в неприятностях со штанами я сам виноват!

– Ну-ка примерь, влезет ли в карман, – посоветовал Пашка.

Штаны на мне были, те самые, прошлогодние. Они стали покороче (то ли ссохлись, то ли я подрос), нижние края их иногда вылезали из широких валенок, но карман ничуть не уменьшился. И наган уместился в нем, будто сделан был по заказу.

– В самый раз!.. Паш... А я тебе вот это. Тоже в подарок... – И я протянул ему красного льва.

Пашка подарок оценил. С удовольствием оттиснул льва на Володином журнале «Вокруг света». Потом мы украсили львом боковые стороны пистолетного ствола. Красная мастика прекрасно впечаталась в оструганное дерево.

– Ну, давай испытаем наган! – сказал Пашка.

Мне и самому не терпелось.

– А чем стрелять?

Пашка сказал, что где-то у его мамы был запас сухого гороха. Стал шарить в шкафу и на полках у печи. Банка из-под гороха нашлась, но оказалась почти пустой. На самом дне мы обнаружили только десятка два горошин. Ну, для начала годилось и это.

А еще нужны были мишени. Пашка решил, что лучше всего стрелять по игральным картам. Он сказал, что раньше гусарские офицеры любили бить из старинных кремневых пистолетов «прямо в туза». Я подумал, что едва ли мы попадем из нашего оружия не только в туза но и в саму карту. Но, конечно, не спорил.

Однако растрепанную карточную колоду Пашка не нашел. Видимо, тетя Лена спрятала карты вместе с проволочным крюком, коньками и рогаткой – чтобы беспутный сын не предавался с приятелями азартным играм в «дурака» и «пьяницу».

– А может, достать солдатиков? – нерешительно предложил я.

...В какой-то повести я уже упоминал о пухлой канцелярской папке, в которой хранились Пашкины картонные солдатки. Но сейчас хочу вспомнить о ней подробнее. Если говорить точно, солдатки были не Пашкины, а его отца. Отец их коллекционировал. Рисовал на картонках и вырезал солдат, офицеров и генералов разных стран, раскладывал их по армиям и полкам... Это невинное развлечение дорого обошлось Григорию Ивановичу Шаклину. В сентябре тридцать седьмого года, его арестовали и обвинили в чем-то вроде агитации в пользу западных и белогвардейских армий (хотя в коллекции было немало и красноармейцев в буденовках). Не знаю, может быть это обвинение было не самым главным, потому что папку с солдатиками даже не забрали, как вещественное доказательство. Но в семье Шаклиных и среди соседей говорили – виноваты солдатки.

Впрочем, Шаклины папку не выкинули и не предали проклятию. Может быть, тетя Лена суеверно считала, что пока солдатки целы, сохраняется шанс на возвращение мужа. Иногда она (правда не очень охотно) давала солдатиков Пашке и мне – поиграть. А порой, когда матери не было дома, Пашка вытаскивал их сам. Мы устраивали на полу парады и сражения. Ставили в шеренги красных бойцов и краснофлотцев, шотландских стрелков в

клетчатых юбках, французских гренадеров и генералов в пышных эполетах, турецких янычар в чалмах...

Были здесь и немецкие солдаты. В глубоких касках, с тяжелыми ранцами. Еще «довоенного образца», но очень похожие на тех, которые напали на нас в сорок первом году...

Надежда на возвращение Григория Ивановича не сбылась. В пятидесятых годах тете Лене сообщили, что он во время войны умер в лагере. Так все и думали долгое время. Но и это оказалось неправдой.

Недавно я приезжал в Тюмень и зашел в редакцию газеты «Тюменский курьер». Ее главным редактором был Рафаэль Соломонович Гольдберг, с которым мы когда-то вместе учились в Свердловске, в университете. Посидели, повспоминали... Я, глотнув рюмку-другую коньяка, нырнул в своих воспоминаниях не только в студенческие времена, но и глубже, в детство сороковых годов. Была на то причина. Редакция располагалась в крыле большого здания горисполкома, которое построили на месте моего родного деревянного квартала. И крыло это, как я прикинул, оказалось как раз там, где когда-то в длинном одноэтажном флигеле находилась тесная Пашкина квартирка.

Вспомнил я и наши игры, и солдатиков, и горькую судьбу того, кто их когда-то мастеровил...

Рафаэль Соломонович переспросил фамилию. Поднялся. Взял с полки два тяжелых тома. Это была «Книга расстрелянных» – скорбный список тех, кто погиб на территории Тюменской области от рук НКВД в годы большого террора. Составлению этого мартиролога журналист Гольдберг отдал немало сил. На двести шестнадцатой странице нашли нужное имя. Оказалось, что Пашкин отец, старший бухгалтер транспортной конторы Тюменского торгового дома, был расстрелян в Тюмени 12 октября 1937 года... (Фамилии в этой повести слегка изменены, но внимательный читатель, если захочет, разберется).

Потом мы с Рафаэлем поехали на улицу Полевую, где из обломков здания тюменского НКВД сложен скромный памятник невинно погибшим. Он стоит на месте захоронения многих жертв репрессий. В кирпичной стене темнеет окошко со вмурованной подвальной решеткой. По кирпичам тянется лента из черного лабрадора. На ней слова: «Никогда больше». Написано это трижды: на латыни – вечном языке всех времен, по-русски – на языке нашей многострадальной страны и по-татарски – на языке давних и многочисленных жителей Тюменского края.

На той же книжной странице, где сведения о Пашкином отце, есть слова Рафаэля Гольдберга: «Мир все равно изменится к лучшему. А самое главное, вернусь к тому, с чего начал: никто и никогда нам с вами ночью не постучит в дверь».

Дай-то Бог...

А Пашку, то есть Павла Григорьевича Шаклина, я в тот приезд так и не увидел. Звонил, звонил ему, но телефон не ответил.

6.

...Ну ладно, опять я отвлекся. Вернусь в тот январский вечер сорок седьмого года. Пашка вытащил из ящика комода папку. Мы тесной шеренгой (чтобы меньше было промахов) расставили на краю стола немецких солдат. А в кого еще стрелять-то!

Стреляли метров с трех. Садись верхом на стул, животом к спинке, бери наган в две руки, упирался в спинку локтями и палили горошинами по врагам. Строго по очереди. У Пашки получалось, конечно, лучше, но и я после десяти выстрелов сбил трех «фрицев». Потом кончились боеприпасы. Мы бросились собирать горошины на полу, но отыскивали, разумеется, не все – в полу были щели. А после повторной стрельбы горошин осталось всего пять штук.

Пашка забрался с ногами на высокий комод. Там стоял старинный граммофон с трубой и несколько шкатулок затейливого вида. Он открыл одну и отыскал в ней стеклянные шарики от рассыпавшихся бус тети Лены. «Все равно они не нужны». К сожалению, шарики не все подходили по калибру, многие были слишком крупными. Скоро стеклянный боезапас был растрочен, а стрелковый азарт не иссяк. И Пашка взял с комода еще одну шкатулку – «аптечную». Там нашлась облатка с мелкими таблетками ярко-желтого цвета.

– Смотри, в самый раз...

– А может, это нужное лекарство? – сказал я опасливо.

– Да никому ни на фиг не нужно! Оно тут уже который год валяется...

Лимонными пилюлями мы сразили еще несколько солдат вермахта. Правда, летели эти таблетки не так точно, как горох и бусы. Одна даже угодила в мою непроливашку, что стояла на боковой кромке стола. И не в бок попала, а прямо внутрь. Я слегка забеспокоился: не испортятся ли чернила? Но Пашка сказал:

– Да какая холера с ними случится...

В это время разом явились домой Пашкин брат Володя и моя сестрица. Какая уж тут стрельба! Я сразу был востребован домой и ушел, ощущая в заднем кармане приятную тяжесть пистолета. А Пашка остался украшать красным львом свои учебники и книжки.

Сестра проверила мое задание по арифметике.

– Небось, тебе все примеры Павел решил?

Я дипломатично промолчал.

– Мог бы и по письму сделать упражнение.

Эти неосторожные слова дали мне законный повод для возмущения:

– Я, что ли, лошадь какая-то? Пахать без отдыха!..

За упражнение по письму я сел только вечером следующего дня. Обмакнул перо в непроливашку. Вывел первую букву. Обалдело замигал. Чернила были изумрудного цвета.

Сестра долго не могла верить своим глазам.

– Что это такое ты с ними сделал?

– Ничего я с ними не делал! Сами перекрасились! Откуда я знаю, как? Стояли, стояли, и вот!.. При чем тут я?!

Мое негодование было почти искренним. Ведь в самом деле, я мог и не заметить, как вчера в непроливашку угодила желтая пилюля! То, что желтое в смеси с темно-синим и фиолетовым образует зеленый цвет, я прекрасно знал, но не собирался делиться сестрой этим соображением. И она, как ни странно, поверила в мою невиновность. Только пожалала плечами.

– Представляю, что скажет завтра Прасковья Ивановна...

Прасковья Ивановна сказала:

– Владислав! Это что за новый фокус! Почему у тебя в тетради зеленые чернила?

– Я сам не знаю! Были нормальные и вдруг сделались такие.

– Что ты морочишь мне голову!

– Ничего я не морочу! Вчера начал писать – и вот... А других у меня нету.

– Меня это не касается.

– А почему нельзя писать зелеными?

– Потому что не полагается. Школьники должны писать химическими чернилами.

«Химическими» тогда назывались фиолетовые чернила.

Меня «заело». Такое со мной случалось иногда в отношениях с Прасковьей Ивановной. Если я был уверен в своей правоте.

– Все же я не понимаю. Чем зеленые хуже химических? Главное, чтобы все было написано правильно!

– Вот за такое «правильно» зелеными чернилами я буду снижать тебе оценку на один балл.

– А у меня других нету, – упрямо повторил я. И продолжал писать зелеными. И дома, и в школе. Двоек за это я, правда, не получал, но тройки шли сплошняком. Класс с интересом наблюдал, кто кого переупрямит: я «Прасковьюшку» или она меня.

Наконец, Прасковья Ивановна пожелала побеседовать с моей мамой.

– А она не может прийти в школу, – сообщил я с тайным злорадством.

– Это почему же?

– Придите в гости, сами увидите, – независимо отозвался я.

Прасковья Ивановна не поленилась, пришла. И увидела, что маме сейчас действительно не следует много гулять: момент появления моего братишки на свет был уже недалек. Это обстоятельство смягчило Прасковью Ивановну, однако она все же просила маму «снабдить Славика чернилами, какие положены в школе». Мама обещала.

Но выполнить обещание было нелегко. «Химических» чернил ни дома, ни у сестры не оказалось. У сестры вообще не было никаких, она писала автоматической ручкой (редкая в ту пору вещь), которую привезла из Одессы. А в чернильнице отчима на донышке поблескивала бледно-синяя жижица, которая годилась для школы не больше, чем ярко-изумрудный раствор. Надо было идти на рынок-толкучку за чернильным порошком или за «химическим» карандашом, из грифеля которого можно было настрагать тот же порошок. Но идти было некому (не меня же, восьмилетнего растяпу, посылать!).

– Попроси у Павлика или у девочек, – говорила мама. Но я отвечал, что у Павлика нет, а с девчонками-соседками я поругался.

Я хитрил. Дело в том, что новые чернила пришлось бы наливать в какой-нибудь аптечный пузырек и таскать его в школу вместо непроливашки. Такой поступок мне казался недостойным. Получилось бы, что я предал свою любимую чернилку. Кроме того, это могло послужить дурной приметой, а я в ту пору был весьма суеверен.

Я понимал, что выход один: поскорее освободить непроливашку от зеленых чернил. Но как? Потому эта чернилка и «непроливаемая», что до конца вытрясти из нее жидкость никогда не удастся. Чтобы заляпать штаны – пожалуйста, а досуха – никак. Расходовались же зеленые чернила очень медленно. Наверно, хватило бы до весенних каникул.

Спас меня, сам того не ведая, отчим. Однажды он вернулся с работы необычно рано. Я в тот день обитал не у сестры, а дома. Отчим сообщил, что пришел перекусить, а потом снова отправится в свою контору. Там какой-то деятель из райкома партии будет всем сотрудникам читать лекцию о «новом этапе строительства социализма в послевоенный период». Было заметно, что перед приходом отчим уже успел перекусить. Точнее, закусить. А перед закуской принять порцию водочки. Попахивало от него изрядно. Судя по всему, он с кем-то из приятелей заглянул в подвальную забегаловку на углу Первомайской и Вокзальной (называлась она «Метро»).

После тарелки щей и немалой дозы жареной картошки отчим осоловел и прилег на кровать. Мама смотрела на него, покачивая головой.

– Как же ты пойдешь на лекцию? В таком-то виде...

– А я и не пойду, – отвечал отчим. Как всегда после дозы, равной четвертинке, он погрузился в беспечность и умиротворение.

– Тебе же попадет! Ты же понимаешь, что отметят всех, кто не пришел!

– Скажу, что заболел...

– Так тебе и поверили! Такие лекции – обязательные! Это же про социализм...

Негромко, но внятно отчим сообщил с кровати:

– Проблемы строительства социализма, нужны мне, как дохлому Бобику клизма...

Мама в панике заглядывалась на тонкие фанерные стены. Потом плачущим тоном пообещала:

– За свой длинный язык ты опять окажешься *там* ...

Но отчим уже мирно посапывал в подушку. На его блестящей, с прямым пробором причёске блестел зайчик от лампочки.

А меня вдруг осенило! Я вспомнил детскую клизму из рыжей резины, которой иногда играл, как мячиком. Эту клизму я звал «Буратино» за ее длинный острый нос. Нажмешь резиновый шарик, сунешь «нос» в воду, наберешь ее внутрь, и можно брызгать в приятелей – это летом, в жару... Но ведь можно таким же образом высосать из непроливашки чернила!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.